

Гийом Фай

НОВЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ



1. Возвращение вызовов

Идеологическая и культурная атмосфера в послевоенной Европе, одомашненной благодаря миру и самой долгой до сих пор высокой конъюнктуре, стояла до 70-х годов исключительно под двойным знаком политических иллюзий и миражей. Мыслящие элиты не могли делать ничего другого, кроме как предаваться мечтам, так как они были лишены вызовов, истории и грелись в уютном обществе без видимых угроз.

Введенная Сартром мода на причастность появилась именно в тот момент, когда эта причастность не требовала почти ничего и не была связана ни с риском, ни с серьезными последствиями. «Многие интеллектуалы, – писал Жан-Клод Гильбо, – поддались сталинистским соблазнам, поверили, что Сталин не угрожает умиротворенному миру. Можно было быть антиамериканцем в культурном плане, оставаясь под защитой американского атомного зонтика. Страшила воображаемая победа революции, в то время как Европа беспрепятственно двигалась к социал-демократической модели государства всеобщего благосостоя-

ния... Изгнанное из повседневной жизни трагическое возвращалось через воображение. Только мир и экономический рост делали возможной такую духовную расточительность. Позже пришла солидарность с Третьим миром, рожденная, несомненно, тем же инстинктивным желанием найти имитацию пафоса и через эту подмену участвовать во всех фантазиях истории. Равным образом процветали самая резкая критика общества потребления, пасторальная чувствительность и мечты о нулевом росте именно в тот момент, когда ВВП рос самыми быстрыми темпами»¹.

Европа 80-х годов кажется деполитизированной по сравнению с 60-ми годами, когда она трепыхалась. Можно сказать, что ускорению нашего упадка соответствует все более ярко выраженная поверхностность идеологических споров. Далеко позади остался май 1968 года, когда мы в студенческих городках сражались за или против Мао, за стихийно-пролетарскую коммуну или против нее, когда Рим, Берлин и Париж вроде бы дрожали от призывов к «революции».

И, тем не менее, Европу конца XX века, вопреки всей видимости, оживляет спор, более принципиальный, чем пустопорожняя болтовня послевоенного периода. Тогда сохранялись старые политические разделительные линии, порожденные марксизмом, социальным вопросом и полярной противоположностью левых и правых. Все шло так, словно на протяжении этих трех десятилетий – после плодотворной паузы с 1920 по 1940 год, когда наметились настоящие разделительные линии и идеологические споры XX века – мы совершенно нереальным образом вернулись к конфликтам доктрин XIX века.

Студенческие бунты, леворадикальные беспорядки, неомарксистские идеологии, споры о феминизме, рабочем христианстве, маоизме, анархизме и т.д. представляли собой в действительности огромный мираж, мираж общества, бессящегося с жиру. За видимостью интенсивной политизации эти 30 лет привели скорее к глобальной деполитизации, даже деидеологизации. Главные события разыгрывались в драг-сторах и можно было для забавы изображать из себя революционера или освободителя (без пролетариата и без гнета) и вести себя, как в театре, мифологизируя битвы XIX века.

Но с конца 70-х годов идеологический пейзаж Западной Европы существенно изменился. Профессиональные политики, которых все больше презирает общественность, могут по-прежнему развлекаться спором левых и правых и наклеивать ярлыки, но к ним, как и к «социальному вопросу» утратили интерес интеллектуальные круги и новая политическая каста. «Центристский блок» основан на новом консенсусе приверженцев прав человека², либерализма и атлантизма и нарушает прежние политические разделительные линии таким образом, что в

«социалистической» Франции «левое» правительство служит мотором этого нового блока.

Идеологические и политические споры послевоенного периода при всей их внешней ожесточенности не касались непосредственно *угрозы выживанию европейцев*. Сегодня все выглядит совсем иначе.

Деколонизация при всей ее драматической интенсивности не стала катастрофой и не поставила под угрозу могущество или целостность Европы. Высказывалось даже мнение, что деколонизация дала Европе средства для нового старта. Жгучие споры об абортах, противозачаточных средствах, положении женщин, университетских порядках не затрагивали фундаментальных тем, это была, скорее, символическая, моральная борьба. Споры о снижении рождаемости, которое консерваторы объясняли тогда абортами и применением противозачаточных средств, были такими же, равно как и бурные споры о «поколении битников» (длинные волосы, поп-музыка, наркотики, «протестующая» молодежь), сопровождаемые сильной политической напряженностью и искусственным натравливанием правых на левых, кажутся сегодня совершенно бессмысленными; и те, кто противопоставлял буржуазные ценности стилю нового поколения, и их «левые» противники, приверженцы «протеста» и «освобождения», мнимые носители «подрывных» взглядов, – все сегодня протрезвели, видя тщетность своей борьбы. Это поколение, идеология которого тогда ставила под вопрос все существующие общественные и властные структуры, придя к власти, создало самое обывательски-буржуазное, самое консервативное общество XX века (это явление напоминает развитие в России 20-х годов, когда на смену ленинской революционности пришло самое геронтократическое и застойное общество в мире).

Тогдашних противников помирила одна модель общества. То, что воспринималось как таран против западного буржуазного порядка (поддержанный всеми левыми «бунт молодежи») был в действительности фантастическим процессом включения в этот порядок. Что же касается политэкономических споров (например, за или против национализации), то и они велись на уровне схоластики, так как почти все, левые и правые, признавали общую легитимность при различиях в нюансах, почти все окончательно забыли о социальной революции, диктатуре пролетариата, коллективной и социалистической собственности на средства производства. Эти идеологические призраки окончательно исчезли, хотя они и после своей смерти еще 40 лет властвовали над сознанием элит.

Все изменилось. В новых начинающихся дебатах речь идет, как уже было сказано, о выживании нашей культуры, а не о деталях, устаревших идеологических символах или идейных спорах.

Проблематика иммиграции и многорасового общества, новая постановка еврейского вопроса, более или менее замалчиваемого, неожиданный образ СССР как нового Дьявола в умах большинства интеллектуалов и политиков, полная утрата доверия к марксистско-ленинскому коммунизму, новое сплочение западноевропейских стран вокруг американского атлантизма привели к новому пониманию ключевых вопросов. Сегодня речь снова идет о самом существенном. В новых спорах решающим будет вопрос о *европейской самобытности*.

Возвращение к решающим вопросам парадоксальным образом происходит в тот момент, когда общественное мнение демобилизовано двойным шоком «кризиса сверхпотребления» и ориентировано на индивидуализм частной жизни, устав от политической активности. Никакого сравнения с предыдущим этапом, когда бурная политизация вела лишь к спорам по второстепенным вопросам.

Возвращение к политике происходит в деполитизированной атмосфере, так как общество помнит о том времени, когда интенсивность политики сочеталась с ее отсутствием. Должно пройти какое-то время, прежде чем новые вызовы, которые пока осознают только «специалисты по идеологии», дойдут до тяжелого тела народа, до тяжеловесного духа общественности и оживят их.

Разве посреди самолюбования и всеобщего равнодушия к общественным вопросам не просматривается *потребность в укоренении*, которая присуща новым основным вопросам?

Возврат к традициям, поиск семейной и региональной самобытности постепенно укрепляются в коллективном менталитете, хотя и наряду с болезненной психикой лет благосостояния, сосредоточенной только на нарциссическом поиске экономического значения, и отрицанием приверженности к чему-либо. Господствующие в Европе мнения... по эту и по ту сторону Железного занавеса свидетельствуют о все большей антипатии к пактам, т.е. о стремлении к нейтралитету Европы, о более или менее осознанном желании разорвать западные обязательства.

Но политические круги (левые и правые) сохраняют приверженность к американскому либерализму, атлантической зависимости от НАТО, модели космополитической и «многокультурной» цивилизации (вместо национальной и европейской модели) и, что удивительно, именно в те годы, когда в глубине души европейских народов возникает антипатия к западничеству, американизму и атлантизму и потребность в самобытности и самоутверждении. Иными словами, за последние годы произошел исторический раскол между политическими кругами и народами, особенно в странах, которые снова объединяет вокруг себя Америка: Италии, ФРГ, странах Бенилюкса, Англии. Все выглядит так, словно мы пе-

реживаем измену наших «предводителей», видим, как возникает напряженность между народами, которые хотят укоренения, и властями, которые выбрали космополитизм; между народами, которые (сознательно или бессознательно) стремятся к европейской самобытности, и профессиональными политиками, которые думают, в основном, о том, как лучше угодить американским покровителям, и отвергают идею независимой Европы на политическом, геостратегическом и культурном уровнях. Эта расширяющаяся пропасть между народами и их правителями – явление положительное, если учесть продолжающийся экономический маразм. Этот разрыв таит в себе потенциал неожиданных революций. Вопреки мнению многих социологов, таких как Липовецкий³, эра революций для Европы не минула навечно.

Из отдельных вызовов, которые угрожают европейской самобытности, мы рассмотрим здесь три основных: *многорасовое общество*, как вызов нашей антропологической личности, *утрату культуры* и традиций как вызов нашей культурной памяти и *техноморфное общество* как общий вызов нашей культуре и технике. Стратегические и экономические угрозы, которые также относятся к числу новых вызовов, здесь умышленно не учитываются, потому что, по нашему мнению, то, что обуславливает все прочее, присуще инфраструктурной области культурной и этнической самобытности, т.е. внутреннему миру.

2. Вызов многорасового общества

Многие европейские страны очутились за последние десятилетия в совершенно новой общественной форме, что они могли предвидеть еще 20 лет назад, но не предвидели, форме, которая до сих пор была характерна для США: как следствие деколонизации, иммиграции рабочей силы и разного прироста населения на Севере и на Юге образовалось многорасовое общество. Впервые в своей истории, по крайней мере, за последнее тысячелетие, Западная Европа стала прибежищем афро-азиатских меньшинств, численность которых постоянно увеличивается. Потрясение было сильным, особенно во Франции. Вопрос о самобытности встал с невиданной до сих пор грубостью и злободневностью. Но этот вызов позволяет европейцам, наконец, осознать специфику своей природы или, по крайней мере, задуматься о ней. Самобытность, сильное чувство привязанности и значение понятия «гражданство» основываются на сравнительной *этнокультурной однородности* европейцев; поэтому мы должны задать вопрос о «степени желательности» многорасового или многокультурного общества. Еще один новый признак: публичные дебаты по (бывшему до сих пор «табу») вопросу о возможности и желательности возвращения вышеупомянутых меньшинств на их родину. Выражаются даже сомнения, можно ли предоставлять гражданство европейских стран лицам неевропейского этнокультурного проис-

хождения⁴. Многорасовое общество имеет два существенных недостатка: во-первых, в нем «процветает» гетто, расовая ненависть, все формы социальной борьбы, что достаточно доказывают примеры США, Бразилии и Южной Африки. Во-вторых, эта модель общества равнозначна *нью-йоркизации* европейцев в духе того всемирного Запада, где правилом являются отрыв от корней, самолюбленный индивидуализм, сплошная механизация и меркантилизация общества, утрата культурной самобытности и дискредитация понятия гражданства, поскольку чужаки становятся такими же гражданами, как и коренные жители.

Критика многорасового общества сегодня насущно необходима именно потому, что мы осуждаем любые формы расизма, потому что мы хотим иметь настоящее общество, а не патогенную массу, и уважаем европейскую культуру; потому что каждый человек имеет право сохранять свою самобытность и свое гражданство. Проблематика многорасового общества оказывается в центре внимания и станет в конце XX века важнейшим политическим вопросом. Новые линии раздела пройдут не между «правыми» и «левыми» (эти социал-экономические конфликты сегодня стали второстепенными и устаревшими), а между приверженцами *космополитизма* и *самобытности*; и тех, и других можно найти и среди левых, и среди правых.

То, что в Европе называют «иммиграцией», представляет собой, по мнению Альбера Сови, «колонизацию путем заселения Европы» жителями плодovitых стран Азии и Африки. Это реакция на нашу колонизацию. Если мы не остановим наш демографический откат, то прав окажется Пьер Шоню, который говорит: «Германия обречена на вымирание, но она этого не знает»; более того, большая часть жителей Европы, особенно молодежи, в начале XXI века не будет европейской по происхождению, а может быть, и по культуре. Последнее связано с упадком нашей культуры, и иммигранты оказываются перед выбором: «большие гетто» или американизация. Европе грозит опасность *утратить свою этнокультурную самобытность*, а это еще хуже, чем изменение культуры под чужим влиянием, потому что необратимо. Никогда за всю ее историю Европе не грозила такая опасность исчезнуть с мировой арены, как сегодня, и никогда ее правящие классы не осознавали это в столь малой степени⁵.

Мы озабочены геноцидом других народов, но остаемся равнодушными и слепыми перед лицом этнического, демографического геноцида, который угрожает сегодня всей Европе.

Идеологи ассимиляции иммигрантов в Европе (а также их интеграции через систему гетто многокультурного общества) хотят действовать точно так же, как миссионеры, которые обращали в свою веру индейцев, как уравнилители-якобинцы и как колонизаторы XIX – начала XX века, с той, правда, разницей,

что теперь они хотят колонизировать нас. Такова горькая трагедия истории: бывшая колонизаторская Европа стоит сегодня на первом месте среди жертв колонизации. Какая ирония судьбы: афро-американские иммигранты, дети тех, кого колониализм подвергал этноциду и лишал самобытности, используются сегодня для того, чтобы лишить Европу остатков ее самобытности, становятся орудиями нашей собственной «сверх-вестернизации»! Многорасовое общество это колониализм наоборот, продолжение колониализма, форма его проявления, ипостась. В обоих случаях хороводом правит прогрессизм, и теперь мы понимаем, что колониализм был той же многорасовой идеологией, только в детском возрасте. В подсознании прогрессистов и социал-демократов где-то таилась эта безумная идея, смесь мазохизма и ксенофобии⁶: недостаточно колонизировать южные народы, лишить их своей культуры и переделать по западному образцу, надо, чтобы они приехали к нам и мы вместе лишимся самобытности, предавшись грандиозной культурной оргии. Лишив эти народы их культуры, мы зовем их теперь к себе, чтобы и они, и мы потеряли свое лицо.

Для бывшего премьер-министра Лорана Фабиуса, который остается верным не только взглядам Жюль Ферри и духу Французской революции, но и духу американской Конституции, республика, как сказал он недавно в одной из речей, призвана построить многорасовое общество и многорасовую нацию, а религиозная, культурная и этническая принадлежность и самобытность это вещи второстепенные⁷.

Идеология, которая сегодня проповедует многорасовость, отнюдь не новая, хотя и претендует на это звание. Учебная модель Французской республики ориентируется на «национальную» модель централизованной монархии, основанную на принудительной уравниловке этнических групп и уничтожении их самобытности. Колонизация этнических групп центральной властью, заморский колониализм и современная многорасовость или ассимиляция сами собой переходят во Франции из одной формы в другую. Господствующая ныне «многокультурная» идеология только продолжает учения своих предшественниц. Парадоксальным образом французская самобытность становится жертвой французской идеологии...

То, что многорасовое общество создает гетто и стимулирует расизм, подтверждается тем фактом, что «цветные», как только их число становится достаточно большим, начинают требовать расовой автономии. В английской лейбористской партии негры потребовали создания «черной секции» (настоящей партии в партии) и добились этого («Дейли Мейл» от 15 апреля 1985 года). По примеру Бельгии, где ввиду конфликта между фламандцами и валлонами все учреждения приходится делить на две части, мы постепенно скатываемся к обществу, где все области будут делиться между разными расами и этносами. Излишне

говорить, что от этого пострадают чувство общности и понятия общественного блага и служения обществу, от социальных связей останутся лишь коммерчески-договорные отношения на базе экономических интересов⁸.

В многорасовом обществе при абсолютном господстве космополитизма проявляется обыкновенный расизм, и общество разлагается, исчезают все отношения между людьми, основанные не на материальных интересах. Многорасовое общество, рост которого связан с усилением либерально-капиталистической общественной формы, взлетом неолиберальных теорий и постепенной заменой на Западе власти политиков властью технократов и экономистов, порождено также «новым потребительским обществом»⁹, в котором общественное тело распадается на кланы. Единственными «теплыми» общественными связями становятся личные и внутриэтнические связи, что же касается связей на национальном и макросоциальном уровнях, то они становятся все более холодными, анонимными, техническими, меркантильными. Таким образом, многорасовое общество усиливает патологические черты современных народов: массовость, анонимный индивидуализм, притупление гражданских чувств и общественного альтруизма.

Тем, кто говорит: «Да, мы потеряем нашу культурную и антропологическую самобытность, ну и что? Возникнет новая всемирная смешанная культура. Почему это для нас неприемлемо?» мы должны отвечать не только на рациональном или моральном уровне. Мы должны отстаивать противоположные взгляды, т.е. проявлять ту же волю, что и африканцы или арабы, когда они противятся внедрению европейцев и остаются верными своей наследственной самобытности. Это нормально и законно, что арабы, африканские негры, японцы хотят оставаться самими собой, что африканцы непременно черные, а азиаты – желтые, и столь же законно, естественно и необходимо, чтобы за европейцами было признано право отвергнуть многорасовость и самоутвердиться в качестве белых. Называть эту точку зрения расистской – возмутительная наглость. Настоящие расисты скорее те, кто работает над созданием в Европе многорасового общества.

Будем логичными! Мы должны бороться против заселения Европы цветными народами так же, как надо было некогда бороться против колониализма, который некогда подчинял эти самые цветные народы белым, и тоже во имя антирасизма. История показывает, что общества, основанные на смешивании или принудительном объединении далеких друг от друга народов, со временем достигают такой точки, когда расовый вопрос становится столь же острым, как некогда социальный вопрос, расизм делается массовым, бытовым – это достаточно доказано примерами США и Бразилии.

Общества Северной и Южной Америки – свидетельства того, что ассимиляция отдельных этносов в одно общественное и культурное целое не удастся, что

стабильна только иерархия групп людей. Неужели кто-то серьезно верит, что наша современная социально-культурная модель, которая не всегда работает и при одном коренном населении, сможет объединить очень разные народы?

Итак, мы должны во имя антирасизма осудить многорасовое общество и его приверженцев. Во имя антирасизма мы должны пригвоздить к позорному столбу тех, кто отрицает существование рас и самобытность – их враги и коренные европейцы, и гордые своей кровью африканцы. Проповедники многорасового космополитизма стремятся на самом деле к тому, чтобы создать в мире в высшей степени расистскую социальную организацию, всемирную цивилизацию с *западно-американской* культурой, где белые будут править метисами и цветными (так как они плохо вписываются в «белую» западную культурную модель), где каждая страна будет представлять собой плавильный котел, в котором будет править касты западников. Речь идет о распространении на весь мир расистской модели американского общества. Разделяй и властвуй. Тоталитаризму нужно общество, раздираемое противоречиями.

Будучи антирасистами, из уважения к расам и народам мы предпочитаем этой модели модель *разнородного мира разнородных народов* (а не наоборот), которая одна может гарантировать уважение к другим. Африканцев и арабов будут уважать в Европе, если они не будут больше требовать интеграции, чтобы исчезнуть, как особые люди, или сбегаться в гетто, если на них можно будет смотреть как на иностранцев, имеющих свою родину, а не как на парий, нуждающихся в ассимиляции.

Благодаря многорасовости расизм, это зло эгалитарных обществ, заключенное в стремлении к ассимиляции на базе прав человека, вот уже несколько лет снова стал темой публичных дебатов. На низшем биологическом уровне откровенные расисты (в личных беседах, так как публичное признание в этом наказуемо, как раньше гомосексуализм) и профессиональные антирасисты обсуждают проблему самобытности народов. Расовый вопрос получил сегодня такой же статус, как раньше социальный или как несколько десятилетий назад сексуальный вопрос. Роковая трагедия: чем больше налагают запреты на расизм и принимают законы против него, тем больше он становится не переменным фоном всех дебатов и повседневного поведения... Расизм, эта злокачественная конечная стадия умирающей самобытности бросает свою тень на каждого из нас.

Расовый вопрос стал внутренним демоном западного мира не только благодаря глобализации истории, сокращению расстояний или политическим борцам за расизм XIX и XX века¹⁰; расовый психоз присущ, главным образом, социал-демократии, которая объявляет себя антирасистской, но исторически несет столетнюю ответственность за колониализм, позже за неоколониализм под при-

крытием «деколонизации» и наконец за организацию иммиграции и многорасового общества в Европе.

Но это еще не все. На распространение расового психоза действует еще один фактор. Парадоксально и логично, что т.н. антирасистские круги и воинствующие гуманисты, которые с патологической одержимостью клеймят «фашизм» и «нацизм», сами способствуют тому, что эти идеи снова становятся привлекательными в обществах, в которых они после войны исчезли. Это один из самых ярких примеров социальной гетеротелии.

Гитлер остается живым, как миф, благодаря рвению его противников, которые постоянно возвещают его возвращение в своих фантазмагориях, хотя в 60-е годы его совсем забыли. Не проходит и дня без сомнительных «исторических» публикаций о нацистских злодеяниях, без пропагандистских телефильмов о депортации, Холокосте, Сопrotивлении и т.п. СМИ зациклились на феномене фашизма—расизма—нацизма якобы с педагогической целью привить народам иммунитет против них, но часто с задней мыслью сделать хороший финансовый гешефт, как в случаях с такими скандальными и сомнительными аферами, как фальшивый «Дневник Анны Франк» или фильм «Холокост».

Психоанализ открыл бы за этим синдромом, все более обостряющимся за последние 40 лет, при всех педагогических обличениях триады фашизм—расизм—нацизм, феномен притяжения—отторжения, подавленное желание говорить об этом, потребность одновременно проявить и скрыть расовый психоз и, постоянно осуждая расизм, заразить этим психозом других. Такие интеллектуалы, как Жан-Пьер Фай, Бернар-Анри Леви, Альбер Жаккар, Андре Тагиев, Симона Вейль всю жизнь занимаются тем, что высматривают воображаемых гитлеровцев или нового Муссолини за любым неопужадистским движением¹¹ и сами несут ответственность за распространение «арийского мифа», за внедрение расового вопроса в идеологию нашего общества¹² и за то, что тень Гитлера снова встала в представлениях нынешних европейцев.

Этот синдром сравним с тем, который не так уж давно вызывал в христианских кругах секс. Попы-обличители онанизма из наших образовательных учреждений, повелительницы экрана клеймили воображаемые оргии, отцы семейств выискивали гомосексуалистов; всех их притягивали воображаемые инциденты, которые они осуждали, и они заботились, прежде всего, о том, чтобы это столь же сильно привлекало других. Человек, одержимый сексом, идеей расы, антисемитизмом или педерастией, устраивает себе психическую драму из подозрений и табу и распространяет свою одержимость на других, способствуя тем самым возникновению явления, с которым якобы борется¹³.

Создание привлекательной, особенно для молодежи, атмосферы запретов было одним из важнейших социологических результатов, достигнутых Б.-А.Леви, А.Тагиевым и прочими (в том числе Ханна Арендт), возвещавшими о возврате «духа Освенцима». «Я не знаю, кто такой Гитлер» – такой настрой мог создать иммунитет против возрождения расистских или фашистских учений, поскольку он предавал их забвению, а постоянные предостережения о непосредственно предстоящем возрождении отвратительной бестии объективно снова вызывали к жизни неонацистские секты. И глупые причитания на тему «Никаких рас нет», разумеется, стимулировали расистское контрнаступление. Запугивание «грубым белокурый арийским нацистом-расистом»¹⁴ породило патологическое восхищение мифом, с которым хотели покончить. Писания Бернара-Анри Леви¹⁵ свидетельствуют о подозрительном увлечении арийской тематикой и о скрытом протесте против варварства всего того, что берет свое начало в «чистой» европейской культуре.

Расовый психоз господствующей идеологии

Бесчисленные предостерегающие речи о расизме, фашизме и нацизме; постоянные заклинания о мнимом возрождении массового антисемитизма; постоянные глупые сочетания¹⁶ светловолосого, сильного арийца, расиста и правого радикала, и его жертвы в виде еврея или южанина способствовали тому, что в общественном мнении возник своего рода «негативный арийский миф», который действует точно так же, как и «позитивный».

Можно провести одну параллель. Подобно тому, как западные и народные демократии стремились узаконить себя, скрыть свое банкротство и смыть кровь, прилипшую к их рукам после 1945 года¹⁷, так и наше общество без конца празднует свою победу над Гитлером и Муссолини, чтобы затушевать современные вопросы, которые оно не может решить. «Еще плодоносить способно чрево», – эта знаменитая формула Брехта стала основополагающим мифом общества, которое может оправдывать себя лишь тем, что оно служит бастионом против скрытого, могущего возродиться в любой момент, так и не побежденного фашизма—расизма—нацизма.

Миф о скрытом фашизме включает в себя представление, будто европейская – особенно французская и немецкая – культура по сути своей виновна в том, что она родила такого «Дьявола»¹⁸, поэтому за ней нужно присматривать и с помощью космополитизма лишить ее культурной и этнической самобытности. (Этой точки зрения придерживается и церковь, которая по моральным соображениям выступает за усыновление неевропейских детей и за расовое скрещивание). Этот миф позволяет отодвинуть в тень злодеяния, которые западные и комму-

нистические демократии постоянно совершали со времен Дрездена и Хиросимы: выселенные или истребленные после войны европейские народы, расчистка места для аннексий Советского Союза, Гулаг, бесчисленные военные преступления западных демократий и коммунистических государств в ходе всех конфликтов, которые сотрясали мир после 1950 года и т.п.

Короче, забальзамированный после войны и тщательно сохраняемый труп Гитлера пошел на пользу этому огромному идеологически-политическому движению, которое именуется эгалитарным, гуманитарным и демократическим. Оно включает в себя всех соратников по т.н. антифашистскому фронту, от коммунистов до либералов, всех наследников иудео-христианства, руки которых, даже если они сухие, все равно заляпаны кровью. Труп Гитлера призван узаконить тоталитаризм этого движения, приуменьшить масштабы его злодеяний. Так военные преступления Израиля в Ливане и его политика геноцида простительны, потому что это делают «пережившие Освенцим».

Гитлер никогда не появлялся так часто на французском экране, как со времени прихода к власти социалистов в 1981 году. Эта бомбежка, осуществляемая СМИ, производит, разумеется, эффект, противоположный желаемому. Расизм, антисемитизм и гитлеризм осели в коллективном сознании, они демонически присутствуют в нем как дьявольские мифологемы и, если не увлекают сразу же, то остаются в подсознании.

Парадоксальным образом, именно «обличители» нацизма позаботились о продолжении его существования и даже усилили его в форме мифа, доказав задним числом, что ужасный Мартин Борман был прав. Педагогическая ярость, с которой расизм и антисемитизм осуждаются и преследуются там, где их, к счастью, нет, кристаллизует представление о них в народном сознании. Многие люди, которые до сих пор не различали евреев и неевреев (во всяком случае, не больше, чем католиков и евангелистов, бретонцев и жителей Антильских островов), благодаря борцам с антисемитизмом узнали, что еврейство, может быть, не такие же граждане, как все прочие, что еврейство не такое же качество, как все прочие, и что антисемитизм это особая, высшая форма проявления расизма. Отто Штрассер и Эдуард Дрюмон лучшего не могли и желать. Развернутый в начале 70-х годов маниакальный поход против расизма и антисемитизма привел к тому, что на евреев стали показывать пальцем и общественные отношения приобрели расовый оттенок.

То, чего не смогли сделать неонацистские секты, сделали антирасистские круги и сектанты прав человека. Надо полагать, что это не входило в их намерения, они, скорее, глупцы, чем извращенцы, но в области политической пропаганды глупость непростительна, потому что она может привести к самым скверным и

неожиданным результатам. Эти результаты сегодня налицо: снова распространяется антисемитизм, и не только во Франции, и еще быстрее, когда он приобрел сладкий вкус запретного плода. Что же касается обыкновенного расизма, то излишне рассказывать о его проявлениях...

Кроме заблуждений, у профессиональных антирасистов можно обнаружить много неясных позывов. Многочисленные обмолвки Альбера Жаккара¹⁹ о «белокурых арийцах» и «иммигрантах, которые реагируют, как собаки», фантастическая гитлеромания Бернара-Анри Леви, последний роман которого это антология одержимости, напоминающей нацистскую, неистовства Пьера-Андре Тагиева против гитлеровского фашизма, который мерещится ему за каждой дверью, как насильник – старой деве, разве все это не свидетельствует о вытесненных в той или иной мере желаниях? Это негативное восхищение находит все более широкий спрос на рынке восхищенных по-настоящему, так как эти сомнительные писания, якобы призванные лучше показать «нацистскую опасность», раскрывают ее исторические аспекты.

Антирасизм как носитель расизма

Расистская идея, сохранившая силу и форму архетипа, остается в пантеоне ценностей как *возможное прибежище*. Подобно тому, как христиане давали повод для черных месс и демонических культов, так и наши дорогие демократы, одержимые антирасистскими братскими чувствами, дают повод для возникновения расистской культуры. Во многих случаях антирасизм порождает сегодня расизм, а не наоборот. Точнее, антирасизм, несправедливо и систематически объявляя «расистскими» либо классические ксенофобские типы поведения, при которых расовая ненависть отсутствовала изначально, либо бытовое социальное поведение, свободное от какого-либо расизма, способствует, в конечном счете, тому, что названные типы поведения действительно становятся расистскими. Созданная одержимыми охотниками на расистов атмосфера подозрений в расизме побуждает цветных считать, будто они повсюду подвергаются дискриминации, с тем социологическим последствием, что они сами начинают подвергаться расовой дискриминации других.

Отсюда то крайне негативное явление, что любая декларация европейской самобытности рискует быть заклеянной как «расистская». Вершина нелепости в том, что расизм это объявление неполноценными других, а не самоутверждение. Поэтому разжигателями расизма следует считать всех тех, кто пытается связать вполне законное утверждение европейской этнической самобытности с расизмом.

Все европейцы в различной степени склонны к самобичеванию. Это проявляется в антирасистских психозах, которые раздуваются СМИ и общественностью, когда какой-нибудь неевропеец попадает в судебную хронику.

Антирасистская драма принимает патологические формы и служит своего рода болезненным самолечением общества. Речь идет об изгнании демона из самих себя, когда осуждают мнимый расизм (бытовые драки сплошь и рядом объявляются «преступлениями на расовой почве») или когда власти отказываются покарать неевропейцев за совершенные ими преступления, боясь обвинений в этом тяжком грехе. Этот мазохистский синдром лишь усиливает массовый расизм.

Политические и идеологические круги, по вине которых европейцы отрываются от своих корней и теряют самобытность, играют особенно активную роль в усилении этого расизма вследствие своей двойной стратегии. Во-первых, они стимулируют создание многорасового и космополитического общества, в котором возникают гетто и отрываются от почвы и коренные жители, и пришельцы; во-вторых, они вызывают народный расизм, не давая ни властям, ни гражданам применять законы против инородцев; своими кампаниями в прессе они натравливают европейцев и инородцев друг на друга. Короче, они все время кричат: «Волк! Волк!» и волк придет. Эта стратегия направлена на то, чтобы сделать европейское общество многорасовым и многорасистским по американскому образцу. Как и американцы, европейцы должны стать лишенными самобытности индивидуумами, запертыми в своей этнической тюрьме и связанными друг с другом лишь западно-материалистическим образом жизни и дебильными СМИ.

Если осознать эту реальность, мы увидим, что проблематика расизма в ее официальной подаче ставится с ног на голову. Расисты те, кто стремится сделать Европу, а может быть и более обширное историческое образование многорасовым обществом; расисты те, кто присвоил себе монополию на антирасизм; расисты те, кто обесценивает расовую принадлежность и расовое сознание, т.е. *этничность* народов мира, кто хочет уничтожить расы (а именно в них бесценное богатство рода человеческого), сводя их до уровня чисто индивидуальных биологических категорий, чисто этнографических, поверхностных «курьезов». Расисты те, кто хочет убедить нас, будто признание расового комплекса и этнической самобытности ведет к ксенофобскому комплексу превосходства, тогда как в действительности презрение к другим расам, чувство собственного превосходства и расовая ненависть присущи эгалитарным обществам, в которых сосуществуют разные расы (как в США). Короче говоря, расисты те, кто обесценивает этническую самобытность, понимаемую в биокультурном смысле, подменяя ее принадлежностью к ложным, примитивным, лишенным культуры общностям. Это чисто политические модели («западная демократия», «цивилизация

прав человека» и т.д.) или, что еще хуже, экономические («социализм», «свободный мир» и т.д.).

Для подлинного противодействия расизму необходимо признание законным этнического сознания и факта существования многих этносов, в том числе и собственного. Право на самобытность означает для народа и право на относительную этническую однородность и право на территорию, т.е. на суверенитет в качестве политической единицы, так что этничность и независимое территориальное образование однозначны. Право народа на самобытность не обеспечено, если он живет в рамках более крупной политической единицы вместе с другими меньшинствами и не обладает суверенитетом над областью, где он, как этнос, представлен наиболее плотно. Сосуществование этносов в рамках «макрообщества» систематически порождает социальную мозаику, где царят гетто, расовая, культурная и религиозная ненависть. США, Ливан, страны Западной Африки, ЮАР, Советский Союз наглядно показывают вред сосуществования этносов и являют собой примеры распавшихся на племена наций, где господствует внутренний колониализм.

Этничность как средство против расизма

Одно из самых негативных последствий многорасовости и загнанного внутрь расизма – усиление антиарабского расизма²⁰. Это непосредственный результат сильного арабско-мусульманского присутствия в Западной Европе, и он используется в своих интересах определенными политическими и стратегическими группами, которые хотят помешать в дальней перспективе евроарабскому сотрудничеству. Евроарабская дружба угрожает американо-советскому кондоминимуму в Средиземноморье. Кроме того, возрождение Ислама, самое значительное политическое событие в мире после 1945 года, осложняет стратегию сионизма, антиарабскую и антимусульманскую политику которого показала во всей неприглядности ливанская трагедия. Не случайно антиарабский расизм возрождается в тот момент, когда Западную Европу надо сплотить вокруг атлантизма, американизма и сионизма.

Приверженцы агрессивного антиарабского расизма, равно как и мнимые антирасисты, которые, не будучи арабами, претендуют на роль их «защитников» и призывают к созданию многорасового общества, чтобы вызвать антиарабские настроения, пропагандируют идею американской Европы, поддерживают израильский империализм, объявляют палестинцев и мусульманских активистов преступниками, словом, делают все, чтобы разделить европейцев с арабами. Они хорошо знают, что евроарабская солидарность, мировая политика, направленная на арабское и европейское единство, несовместимы с сосуществованием

нескольких культур, и, чтобы ослабить дружбу между двумя группами народов, надо отменить право каждого на свой очаг.

Сказанное об арабах относится ко всем народам Третьего мира: приверженцы многорасового общества внушают европейским народам логику ненависти ко всем, кто в XXI веке может стать нашими союзниками в борьбе против обоих блоков. Они толкают нас на путь США, огромного многорасового общества, вся политика которого строится на логике антагонизма между Третьим миром и западным империализмом.

3. Этноцид европейцев

Помимо опасности многорасового общества и утраты своей антропологической самобытности, второй вызов, с которым сталкивается европейская цивилизация, это задача сохранения собственной культуры и отказа от принятия новой.

Пренебрежение немецкой и греческой культурой

Германия символизирует в современной Европе утрату наследия, систематическое снижение культурного уровня, измену своему происхождению. Поделенная ялтинскими союзниками Германия была лабораторией амнезии, символом принятой совместно Советской Россией и американским Западом попытки стирания европейской самобытности. Родина Гете, Моцарта, Гельдерлина стала олицетворением культурного мученичества, местом, где умышленное и запрограммированное разрушение культурной и национальной самобытности Европы осуществлялось эффективней всего. Поэтому, возможно, в Германии начнется самое сильное сопротивление этому процессу, движение, которое может стать народным и увлечь за собой остальную Европу, хотя исторически оно зародилось в виде «Новых правых» в кругах французской и итальянской интеллектуальной элиты. Утрата культурной самобытности, которая грозит европейцам, а также попытка заставить их забыть о своем греческом «гомеровском» происхождении, чревата серьезнейшей опасностью вытеснения нас из истории, нашего окончательного этноцида, более страшного по своей эффективности, чем военно-политическая нейтрализация или экономическая колонизация, жертвами которой мы также являемся.

В своем «Введении в метафизику» Хайдеггер поясняет, что народ входит в историю вместе со своей поэзией, на которой основываются его Логос и язык и бытие его самого как народа. Мы, европейцы, продолжает он, начали существовать как таковые с досократовских и гомеровских поэтов и философов. Но что

происходит сегодня, какое значение имеет та культурная война, которая ведется против Европы, чтобы она перестала существовать как таковая? Что это как не попытка заменить в нашей памяти Парменида, Гераклита и Гомера Библией и пророками? Германия и немецкая культура подвергаются, разумеется, самым яростным нападкам, потому что она «самая греческая», поскольку принадлежит метафизическому народу, философскому пастырю Европы, геополитическому народу центра.

Немецкая культура, ее философы и, прежде всего, ее поэты должны быть утоплены в огромном подогретом океане западной цивилизации (т.е. вихря всякой всячины, который образовался в США сто лет назад): это будет гарантией того, что немцы и прочие европейцы утратят память о своем наследии и примут культуру жевательной резинки американских ковбоев, рокеров, пасторов и фермеров. Немцы и европейцы окончательно перестанут существовать, если они будут убеждены, что они дети «человечества» и их культура столько же обязана Голливуду и Милтону Фридману, сколько Пармениду или Гельдерлину.

Вслед за Бернаром-Анри Леви Жак Аттали, советник президента Миттерана, учит, что «никакой европейской самобытности нет». То ожесточение, с которым определенные круги отрицают какую-либо связь между особой культурой и антропологией, – новое общественно-политическое явление чрезвычайной важности. Европы нет, говорят они, Европа лишь зона «Б» Запада, Европы вообще никогда не было, то лишь продукт скрещиваний, плавильного котла. Выдвижение на первый план иллюзии, будто Европа всегда была космополитической и никогда не могла понять, в чем ее специфика, направлено, разумеется, на то, чтобы изобразить нынешнее разрушение нашей самобытности космополитизмом как нормальное и позитивное продолжение того, что будто бы было всегда²¹. Так что конец нашего века будет ознаменован войной за самобытность. Речь идет о культурной, политической, геополитической, антропологической и, прежде всего, *идеологической* войне. За или против самобытности? Таков великий вопрос, который, подчеркнута или нет, но звучит сегодня во всех идеологических дебатах. С тех пор как французские Новые правые выдвинули лозунг «Право на различия», эта тема стала центральной для всех новых группировок и во всех спорах. Поскольку этому лозунгу ничего не было противопоставлено, противники самобытности народов, приверженцы космополитизма, а также индивидуализма, либерализма и т.н. прав человека попытались хитрым образом нейтрализовать его изнутри. Как? Превратив его в право на индивидуальные различия.

С точки зрения идеологии самобытности и укоренения такое искажение смысла слова «различия» вообще недопустимо. Так генетик Альбер Жаккар²² проповедует учение об индивидуальных различиях как основе всех обществ, которые

представляют собой не что иное, как мозаики и гетто, которые складываются в племена. Это учение целиком укладывается в рамки западноамериканской идеологии, находящейся сегодня под обстрелом. Право на различия следует понимать в аспекте *общих различий*, т.е. в первую очередь как право на *принадлежность* к определенному *народному сообществу*.

Догма о единстве человеческого рода

К числу догм иудео-христианского универсализма, которые представляют собой особую угрозу для самобытности народов, относится догма о единстве человеческого рода, понимаемого притом как метафизическая субстанция. Эта идея однородного человечества (суммы индивидуумов и детей одного Бога-Отца), отвергающая ненормальное и лишь временное чувство принадлежности к какой-то общности, восходит к библейской концепции человека, явно тоталитарной концепции этноцида. Библейская аргументация навязывает мировоззрение, при котором Абсолют играет решающую роль по сравнению с отдельными представлениями, а умозаключения идут от общего к частному при отсутствии обратной связи: особое всегда остается на обесцененной нижней половине. Эта аргументация, совершенно противоположная мировоззрению европейских языков, «выводит то, что мы можем знать о частном, из того, что мы должны знать об Абсолюте»²³. Этому целиком противоречат современные биология, антропология и физика. На книге Бытия и на учении отцов церкви основываются как этот ведущий к этноциду миф о единстве человеческого рода, так и архетип универсального человека (моногогенетического существа одного и того же рода), а эта модель ведет к обесцениванию любой самобытности.

Расизм, характерная черта эгалитарных, оторвавшихся от своих корней обществ, порождается, в частности, этим библейским и христианским понятием единства человеческого рода. В самом деле: если особенности отдельных человеческих групп принижаются в пользу «нейтральной» и «общезначимой» модели (человечество, божественная филиация, миф об Адаме и т.д.), последняя остается высшей, на которую все должны ориентироваться. Это модель истины Откровения, которую первоначально знало лишь меньшинство: закон Яхве, учение церкви и как следствие этого сегодня – цивилизация иудео-христианского Запада.

Признавать «право» всех людей на христианское крещение, а потом на «цивилизацию» (идеология прав человека) значит признавать собственную этнокультурную модель низшей и ориентироваться на модель меньшинства, Библии, а позже Запада. Если иудео-христианский универсализм действительно является питательной формой расизма (как в форме ассимиляции, так и в форме превос-

ходства), то европейцы должны сегодня осознать, что такой расизм, хотя он некогда работал к их выгоде за счет народов колоний, сегодня по иронии судьбы работает против европейской самобытности, которая должна исчезнуть и уступить место многорасовому, т.е. безрасовому обществу и культурному вареву охватившего весь мир Запада.

Бландине Баррет-Кригель правильно отмечает, что представление о человеке – библейское²⁴, но мы должны сразу же добавить, что это представление расистское, ответственное за все случаи совершенного в его имя геноцида и этноцида и не основанное ни на каких фактах. Родовое понятие «человек» не человеческое, а зоологическое. Все языческое мышление (что подтверждают этнология и антропология), наоборот, подчеркивает, что народы и люди, главные реалии человеческого проявления, это биокультурные, а не зоологические реалии, что культуры и личности создают сами себя, отходя от чисто животных реалий «человечества». Кстати, генетики все больше склоняются к *полигенизму*, к той мысли, что человечество восходит к нескольким генетическим источникам, разделившись до стадии «*Homo sapiens*», и что, как и любой другой род живых существ, он запрограммирован на дифференциацию и разветвление²⁵.

Робер Жолен²⁶, Эдмунд Лич и многие другие подчеркивают, что современные тоталитаризмы, этноцентризмы и альтерофобии (отрицание самобытности других путем уподобления их себе) восходят к библейскому универсализму и его концепции исторического прогресса (эсхатология стирания различий) и что современная Европа парадоксальным образом становится жертвой идеологий, которые она сама чтит и использовала для порабощения других. Библейская идеология, которая отказывает другим (язычникам и мусульманам) в праве на свою религию; якобинство, которое оспаривает законность этнического сепаратизма: прогрессистское западничество, которое во имя прав человека (светский вариант христианской любви к ближнему) хотело «освободить» индейцев от их индейства и африканцев от их племенного строя, все они оборачиваются сегодня со своей логикой этноцида против самих европейцев, им они отказывают сегодня в праве на культурную самобытность, на сохранение своей этничности и даже на политический суверенитет.

Запад проводит политику этноцида уже по той причине, что он жаждет обращать в свою веру других, и это результат трагической связи характерного для европейцев в прошлом экспансивного динамизма с иудео-христианским универсализмом. Западная цивилизация, которая понимает себя как моральное учение, как пасторальную теологию, начала терять свою культуру с христианизацией Европы. Неудивительно, что эта вестернизированная Европа, как место открытого этноцида, и ее продолжения (СССР, США) подвергают других такому же этноциду, какому они подвергаются сами.

Но, поскольку охвативший теперь весь мир Запад обращается против своей колыбели, Европы, европейцы переживают, так сказать, второй *этноцид*. Первый был результатом христианизации (внедрения чуждого местному язычеству менталитета), второй – результат вестернизации, нынешней мондиализации с ее двойной логикой окончательного уничтожения самобытности: многорасового общества и американизации.

Первый этноцид, который совпал с утверждением христианства, был не совсем разрушительным, потому что религиозная эпоха христианства, прежде всего католицизма, была эпохой синкретизма европейских и языческих ценностей. Европа осталась Европой, хотя и в ограниченной степени, став «христианской». Наоборот, второй этноцид равнозначен радикальной утрате самобытности, так как иудео-христианство вступило в свою завершающую стадию, когда проявляется сущность библейской идеологии: создание всемирной церкви в форме оторванного от своих корней мирового сообщества.

Об этом втором геноциде Пьер Берар пишет: «Нарушение прав других – самое явное проявление альтерофобии. Этноцентризм же проявляется более тонко, внешне менее полемическим образом: речь идет об отрицании другого путем уподобления его себе... поэтому нет больше возможности обсуждать проблему различий и нет оригинальных других культур. Эта галлюцинация, когда человек видит себя в другом, как в зеркале. называется внешней автоскопией. С идеологической точки зрения, она вызывается ноуменальной, чисто мысленной концепцией человечества».

Пьер Берар считает, что христианский накат на языческую европейскую культуру привел к снижению культурного уровня и к появлению нестойкой, синкретической культуры, от которой мы сегодня должны отойти, «Руины языческой культуры ушли в подсознание общественного тела, в то время как христианское Сверх-Я образовало внешний слой и его эгалитарные, универсалистские ценности все более сильными дозами впрыскивались в цивилизацию Запада. Сегодня коллективное Сверх-Я становится все более навязчивым по мере того, как оно открывает для себя стимулы своего первоначального периода, когда ожидали второго пришествия»²⁷.

В соответствии с этим западная библейская идеология и идеология прав человека изображает чувство принадлежности к числу индейцев или европейцев чем-то унижительным для достоинства индейского или европейского индивидуализма. Только когда он избавится от своей этнической и культурной самобытности, он обретет человеческое достоинство. Точнее говоря, только когда он примет западную иудео-христианскую модель и библейский универсализм, он перестанет быть нечистым и станет настоящим человеком.

От человека требуют, чтобы он отказался от привязанности к своей родине, своему этносу, чтобы его вообще можно было признать человеком. «Еврейский универсализм – пишет Робер Жолен – и его культурное потомство (в том числе христианство) принципиально отличается от других цивилизаций тем, что Бог как Господь его космологии не вписывается в земной мир, в организацию государств и мест»²⁸. Ален де Бенуа того же мнения: «Для Яхве различия между людьми и народами – преходящие, побочные и вообще поверхностные»²⁹.

Вслед за Жераром Эрве³⁰ Пьер Берар указывает, что библейские пророки («Все народы перед Ним ничто» – Исайя, 40-17, и Павел: «Нет больше ни эллин, ни иудей», К галатам, 3-17) объясняют этнические и культурные различия между людьми карой Господней и предрекают «мир без неровностей». Этим оправдывают они глубоко укоренившуюся библейскую и иудео-христианскую ненависть к царствам (империям) и законность этноцида и даже геноцида... Но процесс утраты самобытности и этноцида основывается не только на отрыве от корней и снижении культурного уровня, но также на определенной концепции истории и всего преходящего.

При *линейной* концепции времени, представленной в господствующей на Западе идеологии, центральное понятие самобытности оказывается под угрозой. Эта концепция времени ускорила отрыв от корней и амнезию у тех народов, к которым она прилагалась. Прогрессистский взгляд на историческое время (иудео-христианское воззрение) изображает прошлое как окончательно завершённое и подлежащее забвению. Традиция становится бессмысленным понятием, так как традиция не что иное, как живое прошлое, которое действует в современности и кристаллизуется ею. Только руководствуясь теологическими или светскими, политическими надеждами на второе пришествие европейцы забывали о своем прошлом. т.е. о своей самобытности. И когда сегодня высказывают убеждение в неотвратимости космополитического и американизированного общества, тем самым европейское прошлое лишается силы по сравнению с якобы единственным: мессианским ожиданием «общего застолья», расово смешанного и многонационального мира. При линейной концепции личность народов, для которой нет опоры ни в прошлом, ни в чем-либо другом, объявляется превзойденной и ничего не значащей: важна лишь намеченная «цель» на пути от нулевой точки через «нейтральную современность».

Кризис женственности и феминизация мужчин

Но не только этноцид, культурная война и западный прогрессизм вызывают утрату европейцами своей самобытности. Против нас используется и такое идеологическое и культурное оружие, как физиологическое стирание нашей

личности. Лишившись своей исторической памяти, наши современники больше не заботятся о продолжении рода. Разве не самый убедительный и трагический признак европессимизма зрелище пустых колыбелей и драматическое противоречие общества, которое унизительно заискивает перед молодежью и сгибается под мертвым грузом старцев?

В конце XX века со всей серьезностью встает вопрос о демографическом выживании. В этот век техники, посреди затхлого буржуазного изобилия наше сознание мучительно думает о возврате чисто биологического. Несмотря на враждебную рождаемости господствующую идеологию тревожные призывы демографов прорывают блокаду СМИ: Европа рождает слишком мало детей. Старееющее, ограниченное рамками современности общество одержимо иллюзией искусственной молодости и отказывается как от традиций, так и от исторического будущего.

В результате еще больше увеличиваются значение женщины. В преддверии нового века господствуют женская проблематика и мифология. Образ женщины – новая загадка, новый эпицентр европейского сознания. Женщина дарует жизнь, она заботится о демографии, но и ценности тоже передаются через нее. В цивилизации, которой угрожает потеря самобытности, большое значение, как в культурном, так и в биологическом плане приобретает женский вопрос.

В разорванном сознании томимого мыслью о собственной гибели европейского человека центральное место занимает трагедия потери женщины и мечта о ее возвращении. В народном сознании укрепилось мнение, будто европейские женщины предпочитают неевропейцев, менее плодовиты по сравнению с иммигрантками из Третьего мира, предъявляют завышенные сексуальные и социальные требования к теряющим мужественность мужчинам. Это свидетельствует о драматической дефективности европейских мужчин по сравнению с европейскими женщинами, что повышает значение женской функции в нашей гибнущей цивилизации и побудило Жюльена Фрейнда сказать, что мы переходим «от эры антропологов к эре гинекологов». Миф о более высоких мужских качествах африканцев, притязания европейских женщин на бесплодие и самостоятельность (пережитка феминизма), появление новых сексуальных нравов, ориентация на женский организм и его требования (что может привести к импотенции уязвленного в своей гордости мужчину, который должен «доказывать», что он мужчина), – все это создает атмосферу подозрений вокруг европейской женщины: ее обвиняют в нарушении сексуальной верности, в невыполнении своего биологического долга и своей задачи передачи традиционных ценностей³¹.

Эти подозрения в отношении женщины, смесь хронического женоненавистничества и сексуальной озабоченности, живут, независимо от того, обоснованы они

или нет, в разрушенном сознании больной Европы. Избыток порнографии («тительки на первой полосе!»), характерный для всех наших СМИ, одновременно служит как бы компенсацией и усиливает разочарование в женщине. Психика европейского мужчины нарушена, отсюда разводы, безбрачие, стерилизация и гомосексуализм.

Мужиковатая, озабоченная своим социальным положением европейская женщина, от которой, в конечном счете, зависит биологическое продолжение рода, видит, что традиционные признаки «женственности» исчезают именно в тот момент, когда бесчисленные статьи о ней как раз доказывают, что она больше не является само собой разумеющейся, и когда намечается тревожная перспектива смешения полов.

Андрогинная внешность таких рок-звезд как Грейс Джонс и Анни Леннокс выражает не только патогенные фантазии эгалитаризма, отрицающего различия между мужчиной и женщиной, но и желание лишить женщину ее материнской функции ради отчужденного и фальшивого образа «мужеподобной женщины». Господство андрогинии указывает на один из самых тревожных аспектов утраты самобытности, на утрату биологической самобытности, а именно на то, что систематическое и театральное возвышение гомосексуальности³² и использование андрогинных моделей в мире моды и рекламы подсознательно отвращает людей от продолжения рода, вызывает у них стремление к биологическому самоубийству, что вполне соответствует опустошительному самолюбанию западной цивилизации.

Андрогинные женщины и театральные гомосексуалы со своим одинаковым неестественным стилем образуют вместе модель нейтрального, совершенно лишённого корней, стерилизованного (в обоих смыслах) индивидуума, отказавшегося от потомства, от будущего и ото всех традиций. Это показывает нам печальное лицо лишённого мужества европейского поколения, заикленного на скучной теме: «Нет будущего!», отказавшегося исторически продолжать себя и подверженного лишь случайным настроениям «нового общества потребления».

Все идет к утрате европейцами мужественности, в чем виноваты они сами. Это равнозначно самооскоплению, самоубийству, правда, самоубийству с улыбкой печального клоуна. С болезненной радостью, с ликующим мазохизмом большая часть европейских элит приветствует утрату нашей культурной и антропологической самобытности и наш общий упадок. Этот «европессимизм» скрывается за нашим оптимизмом, основанным на надежде на появление в высшей степени плодотворного общества культурной мешанины, которое, подобно американскому, обретет «новую самобытность», общества «открытой культуры», в котором сотрутся все влияния. Таким образом, старая прогрессистская иллюзия, ко-

тору Люпольд Сенгор еще в 60-х годах окрестил «цивилизацией универсального», выдается за новый путь. К счастью, новые элиты отвергли этот проект, потому что понимают, что он устарел, считают его неэстетичным и демобилизующим (за отсутствием воли к самоутверждению) и осознают его старческий фатализм. Поэтому они ищут пути возврата к самобытности на базе трех опытных точек: родина, национальное отечество и Европа, причем последняя играет роль великого связующего мифа, заполненного, хотя и нечеткими, но весьма привлекательными образами.

Должны ли мы снова стать этноцентристами?

С точки зрения трех самобытностей, региональной, национальной и континентальной было бы напрасным и смехотворным желание вычеркнуть ступень национальной принадлежности.

Регионалисты какое-то время этого хотели. Не говоря о том, что это утопично и перечеркивает значение исторических традиций, эта точка зрения кажется крайне рационалистической и тоталитарной. Хотя нации Европы основываются на совершенно различных принципах (народном в Германии и Италии, государственном во Франции, Испании и Польше), они представляют собой историко-географические реалии, и чувства привязанности к ним очень сильны. Необходимо соединить национальную и европейскую самобытность, рассматривать их как дополняющие друг друга, а не противопоставлять их друг другу. Будучи европейцем, человек будет в еще большей степени итальянцем, французом или немцем, и еще больше европейцем, отождествляя себя со своей нацией, даже если быть французом – не то же самое, что быть немцем. Национальную самобытность надо дополнить сверху (Европой) и закрепить снизу (регионом). Подобная «гимнастика» вызовет, кстати, больше всего проблем, потому что французская нация, к сожалению, слишком часто проявляла свой национализм либо в форме универсализма (как сегодня США), либо в противостоянии соседям, в обоих случаях по антиевропейской схеме. Но все всегда возможно: разве «голлистская» идеология, которую стоило бы возродить, не была, в сущности, сочетанием регионализма и строительства внеблоковой «Европы отечеств», в которой французская самобытность способствовала бы созданию европейской державы?

Подобно традиционным обществам, мы должны стать или снова стать этноцентристами во избежание этноцида. Как подчеркивает Клод Леви-Стросс³³, т.н. «первобытные» народы и современные народы, которые не хотят умирать, вынуждены заботиться прежде всего о самих себе, отчуждаясь от других. Это, может быть, лучших способ уважать других – в какой-то мере забыть о них.

Против этого возражают, что при таком развитии каждый в мире бесплодно замкнулся бы в себе и что «венская» Европа в эпоху своего культурного расцвета была космополитической. В действительности старый европейский космополитизм был присущ Европе, которая одна представляла тогда собой макрокосм, но все изменилось, когда макрокосм достиг мировых масштабов. Космополитизм теперь всех выхолащивает и выравнивает. Настоящий обмен, как в прошлом, когда цивилизации представляли собой в какой-то мере самодостаточные «блоки», происходит лишь тогда, когда каждая из них сохраняет свою индивидуальность и дистанцируется от других. Это подтверждает в высшей степени плодотворные связи Европы с арабским³⁴, индийским и китайским миром. Сегодня же, наоборот, всемирная культурная мешанина «многокультурных» обществ с присутствием им массовым самолюбованием порождает продукцию более низкого культурного уровня, чем самобытные народы, потому что общий знаменатель людей минимальный. «Связи», вопреки современным иллюзиям, распадаются. Каждый замыкается в своем гетто, своем культурном цехе, своем особом вкусе, и культура теряет свое народное и органическое значение.

Возникает культурный калейдоскоп. Здесь, как в супермаркете, можно найти все, на любой вкус, от Моцарта до музыки «фанки», но культура лишается того, что придает ей оригинальность: укоренения в этнической, народной самобытности. Все последствия сегодня еще нельзя установить, так как самобытные культуры еще существуют, смешение происходит, но еще не завершено и, например, в «арабском роке» еще есть арабский элемент, что помогает приверженцам многокультурного общества верить, будто смешение приводит к обогащению. В действительности упадок джаза достаточно хорошо показывает, что культурный «плавильный котел», хотя сначала и дает вполне «приемлемые» результаты, выливается в итоге в неопрimitивную, рационализированную массовую культуру (см. современный американский экспорт), а этническая, народная культура вымирает или низводится на уровень фольклора.

При таких предпосылках прекращается любой обмен, любая связь, исчезают все различия. Единственно допустимые различия – те, что возникают внутри каждой асептической, многокультурной зоны. Это культурные сектора, запрограммированные по «вкусовым классам» или по социологическим и экономическим категориям. Речь идет о последней стадии культурной смерти. Каждый потребляет свои культурные товары, замкнулся в своем гетто и знать не хочет других. США в этом отношении являют собой поучительное зрелище: полное презрение ко всему, что предварительно не переварено ограниченным вкусом среднего американца.

Культура может продолжать существовать, человек может избежать примитивизма и варварства бездуховности, возможны уважение к другим, плодотвор-

ный обмен идеями и проявления изобретательности, но лишь в том случае, если цивилизация уходит своими корнями в этническое, народное сознание при самодостаточности народа. Перед лицом грозящих опасностей, как считает Анри Гобар³⁵, единственной перспективой, приличествующей европейцам, остается «Культуркампф». Мы не можем примириться с американско-западной культурой, мы должны постоянно навязывать ей «стратегию напряженности» и сделать ее своей главной мишенью вместе с многорасовым обществом. Культура и самобытность, к счастью, утрачены еще не совсем. Самоотрицание редко бывает абсолютным. Часто народы, после глубочайшего упадка культуры и сильнейшего этноцида черпали из бездн народной памяти волю к обретению новой самобытности. Возможно, зародыши этого есть и в современной Западной Европе, прежде всего, в стране, которую сильнее всего старались лишить ее культуры и оторвать от ее корней: в Германии. Социологи и этнологи называют этот этап сопротивления и возрождения противодействием обескультуриванию – процесс, наблюдаемый во многих регионах Третьего мира (Черной Африке, арабских странах, Южной Америке). «Мы призываем сегодня вступить на этот путь европейские культуры, – пишет Пьер Берар, – а также всех, кто в этом мире стонет под игом миссионерствующего Запада. Этот изображаемый его приверженцами «Истинным Израилем» Запад воплощает в жизнь слова Второзакония (12, 29): «Господь Бог твой истребит народы, к которым ты придешь, чтобы занять их землю»³⁶.

4. «Традиция» в свете фаустовской души

Историческое возрождение Европы и ее возврат к самобытности будут, может быть, делом не одного поколения. Даже если мы, как активные пессимисты, будем упорно работать над этим, мы не должны забывать слова Гельдерлина: Медитирующий Бог ненавидит преждевременный рост.

Вернуть Европе ее самобытность и ее величие – значит направить ее на узкий путь нового одухотворения вне ставшего теперь религиозно бесплодным иудеохристианства. Это значит также измыслить возврат к язычеству, что предполагает перестройку всего народного сознания на фундаменте «сверхчеловечности», хотя сегодня оно еще живет трезвым эгалитарным нигилизмом. Мы можем определить историческую значимость этого начинания.

Выбор сверхгуманистического мифа

Это должно быть делом элиты, обладающей пронизательностью, непоколебимой стойкостью и, прежде всего, бесконечным терпением. Обращению в новую веру

самого народа должно предшествовать образованию меньшинства, знающего, как возродить традицию, которое отважится разорвать путы эгалитаризма и тысячелетней идеологии западного гуманизма.

Провозвестником этих идей и передовым борцом за такую трансформацию европейского сознания, за возрождающий поворот истории был Ницше, который считал, что новое историческое начало может исходить только от него. Ницше предвидел, что его последователи не смогут задержать поступь эгалитарно-нигилистического движения, и требовал от нас, как активных нигилистов, чтобы мы желали продолжения этого процесса вплоть до стадии гниения. Ницше предвидел, что европейцы превратятся в то, чем они стали сегодня – в «дорогостоящих рабов».

Призыв Ницше к европейцам преодолеть тысячелетний нигилизм иудео-христианства, остановить, если это исторически возможно, эгалитарный цикл, возродить в сверхгуманизме свою историю и вернуться к своей самобытности, этот призыв выражался в форме мифа (сверхгуманистического мифа, который сформулировали Вагнер и Хайдеггер), т.е. самой действенной и сильной из всех мыслимых форм³⁷.

Почему именно мифа? Потому что в то время, когда все мышление пропитано иудео-христианскими эгалитарными ценностями, сверхгуманистическую весть о новой европейской самобытности, чтобы не испугать людей, надо было выразить в иррациональной и зашифрованной форме, воздействуя больше на чувства, чем на интеллект. Возрождение европейского язычества, историческое осуществление сверхгуманизма и преодоление западного эгалитаризма предполагали, как особо подчеркивал Ницше, переоценку всех признанных до тех пор ценностей.

Сторонники европейского возрождения путем преодоления иудео-христианства и эгалитаризма и отказа от них должны в своей метаполитической и культурной деятельности сохранять эту «мифическую составляющую, темнота которой прикрывает возврат в прошлое.

Мы должны остерегаться того, чтобы идеи европейской самобытности и возрождения под лозунгом сверхгуманизма выражались языком каких-то определенных левых или правых с принятием на себя их политических обязательств, так как все политические идеи в современной Европе, даже самые позитивные, остаются в рамках эгалитарного мировоззрения. Кроме того, «возродители» Европы не должны стремиться убедить тех, кто заведомо является носителями и пророками эгалитарного мировоззрения, т.е. могильщиками Европы и любой

Империи, а также тех, кто никогда не поймет, даже если захочет, сверхгуманистический проект по причине своей одержимости эгалитаризмом.

Сверхгуманистический проект обращен ко всем тем, кто несет в себе языческое мировоззрение, часто этого не зная. Таких больше, чем думают, так как боги все еще отбрасывают тень и старый пантеон еще в состоянии породить *молодых* богов. Как говорил Майстер Экхарт, эти идеи обращены к тем, кто уже носил их в своем сердце как свою истину.

Сделать выбор между эгалитаризмом и сверхгуманизмом, между Достоевским и Ницше, иудео-христианской историей и неязыческой судьбой означает для современных европейцев не выбор между ложью и истиной, добром и злом. Речь идет о свободном выборе, так как мы не «предопределены» никакой абсолютной традицией. Это выбор, основанный на воле, выбор между одинаково истинными возможностями, выбор, при котором, в конечном счете, ориентирами служат скорее эстетические, чем рациональные критерии. Либо выбор делается, по вполне понятным причинам, в пользу иудео-христианской гуманистической Европы как космополитического филиала всемирного Запада, либо, по эмоциональным и эстетическим причинам, вопреки нынешнему развитию (которое, с этой точки зрения, «упадок») в пользу самобытной Европы на основе имперской и языческой части ее традиции, Европы, которую Б.-А.Леви (законно и субъективно) постоянно изображает как «варварскую», а с точки зрения иного мировоззрения только ее и можно считать «культурной». И перед таким же выбором стоят, кстати, многие внеевропейские народы, прежде всего, арабы, которые тоже находятся на распутье: либо высказаться за вестернизацию их общества, либо вернуться к великому проекту имперского единства арабо-исламской Родины.

Итак, это выбор между двумя «традициями», и перед нами не абстрактная проекция будущего, а, в первую очередь, признание своим прошлого, «возможного» прошлого. Обращение к Заратустре это условие осуществления сверхчеловеческого идеала.

Трехмерность исторического времени

Что, собственно, означает сверхгуманистическая концепция мира в том виде, в каком ее сформулировали в ее исторической потенциальности Вагнер, Ницше и Хайдеггер? Она означает замену иудео-христианского линейного времени трехмерным временем и перенос этой трехмерности на человека в качестве его основы. Трехмерное время позволяет человеку стать историческим существом.

Как определить эту трехмерную концепцию времени и истории и в чем она противоречит прогрессистской концепции, восходящей к христианству? Ответ могут дать обобщенные тезисы Джорджо Локки³⁸.

«Убивая» прошлое, отказывая ему в каком-либо легитимном влиянии на настоящее, структурируя время по сегментарной схеме (законченное, забытое или окаменевшее прошлое – современность как «пустая» нулевая точка – будущее как спасение и конец истории, отмена истории и всего связанного с прошлым), иудео-христианский прогрессизм тем самым отказывает в продолжении своего исторического существования традиции, самобытности, воле. *Реакционный традиционализм*, кстати, придерживается той же стратегии. С того момента, как деяния и события прошлого объявляются мертвыми, их можно забальзамировать, почитать или исследовать как окаменелости. Прошлое становится еще более окаменевшим, если оно нейтрализуется и перестает влиять. В искусстве творения народов прошлого выдаются за «наследие человечества», чтобы показать, что они никому не принадлежат и не могут иметь никакого отзвука в настоящем. Как только историческое исследование оживляет воспоминания и угрожает вызвать обратное воздействие, его сразу же объявляют сугубо научным. Так было с Жоржем Дюмезилем. Его исследования индоевропейской мифологии стали объектом такой ретивой кампании по их нейтрализации, что самого Дюмезиля заставили заявить, будто его работы не имеют никакого отношения к современности, будто трехфункциональная идеология индоевропейцев имеет лишь академическое значение, короче, будто индоевропейское прошлое Европы, которое могло бы дать ей общую историческую память, либо закончено, либо это фантазмагория. Кстати, делать индоевропейцев предметом сугубо научных исследований гораздо эффективней, чем полемически оспаривать их существование как народа, что тоже имеет место, поскольку последняя стратегия приводит к тому, что снова начинает ощущаться их присутствие.

Прошлому линейной концепции времени мы должны противопоставить прошлое трехмерного времени, которое Хайдеггер называл не «прошлым», а «сущим». Будущее основывается не на «прошлом», а на «сущем», т.е. на том, что содержит в себе «архе», основополагающее начало³⁹. Будущее строится не на детерминизме (не на детерминизме прогрессистов, которые исходят из якобы заданного направления истории, и не на детерминизме реакционных традиционалистов, связанных замкнутой, принудительной традицией), а на верности свободно выбранному судьбоносному проекту. Что же люди выбирают? Они выбирают, как основу своей истории, то, что они могут считать своим не только в настоящем, а также в прошлом и в будущем, а именно своих *героев*. История в ее подлинном смысле это *выбор героев*.

Альтернатива сегодня ясна: это выбор между Авраамом и Ахиллом. По выбору героев (больше чем по биологическим и культурным особенностям) можно судить о том, что называть «народом». Вагнер, кстати, давал понятию «народ» определение, целиком совпадающее с нашей концепцией. Он относил к одному народу тех, кто, среди одинаковых современных угроз, вместе вспоминают выбранных ими «отцов» и составляют общий проект на будущее.

Прошлое в этом случае не есть нечто навсегда утраченное, а нечто «ставшее». Его присутствие ощущается здесь и сейчас, более того, оно продолжается, так как *историческое будущее следует понимать как становление прошлого*. В этом смысле все время (прошлое, настоящее и будущее) это троекратный осмос, одно и то же становление, одно и то же *событие*. Настоящее народа уже не нулевая точка, не пустой момент асимптотического сегмента, который ведет к концу истории, а «присутствие» (Хайдеггер). Это присутствие при собственной истории и внутри исторической трехмерности времени выражается греческим глаголом «эйнай» – «быть», буквально «присутствовать в протяженности», а протяженность включает в себя также пространство, т.е. родину. Современность трехмерной концепции времени означает не только то, что народ имеет свою историю, но и то, что он укоренен в своем пространстве: дополнительная причина для господствующего космополитического менталитета отвергать эту концепцию времени и предпочитать линейную. Понятие «присутствие», в котором приставка обозначает пространство, указывает на то, что современность трехмерного времени включает в себя не только постоянно действующую историческую память, но и территорию предков, почву, на которой народ начал и продолжает свою историю.

Эта трехмерная концепция истории не «революционная» и не «циклическая», не «реакционная» и не «прогрессистская», она включает в себя все эти категории и одновременно возвышается над ними. Традиция и модернизм обычно рассматриваются как противоположности, а возможна и гармония между ними. Близкой к этому была точка зрения немецкой консервативной революции, историческая концепция которой противопоставлялась как прогрессизму, так и реакционному традиционализму.

Принятие революционно-консервативной точки зрения означает одновременно возврат к началу и самопроекцию в будущее, означает выражение воли начать с начала (с «греческого начала» Хайдеггера) и реабилитировать его, преобразовав в будущем. Ницше называл это «вечным возвращением». Разумеется, такая перспектива вообще непостижима для всех тех, кто придерживается линейной, эсхатологической и мессианской концепции времени, т.е. для приверженцев иудео-христианского прогрессизма.

Эту перспективу мы можем также назвать «фаустовской», имея в виду драматический образ, созданный Гете. Фаустовский человек «рискует» (и Хайдеггер определяет это человеческое состояние как высший риск собою и миром); в какой-то мере он «проклят» своими богами, которым он отважно и упрямо бросает вызов. Фаустовский человек в этом смысле «переселенец».

Но можно быть переселенцем, не отрываясь от корней. Когда Европа, начиная с XVI века, осваивала моря и другие континенты, она делала это как Европа. Верность европейским корням усиливала интенсивность открытий и завоеваний, а те в свою очередь делали еще более характерной индивидуальность Европы.

Не фаустовские завоевательные устремления ускорили потерю Европой своего лица, а универсалистская идеология христианства. Фаустовская суть европейской коллективной личности придает, кстати, европейской самобытности форму постоянных обратных завоеваний. Каждая колонизация влечет за собой новое укоренение, что обеспечивает постоянную напряженность культурной и политической самобытности Европы, ее рискованное и плодотворное видоизменение.

Чтобы лучше определить фаустовскую суть исторической личности Европы, нам придется выйти за рамки европейского человека и точно установить, что такое сам человек как «историческое существо».

Животные биологически запрограммированы и действуют только по своей программе в мире, который кажется им сделанным специально для них. Человек же, врожденные импульсы которого не запрограммированы, отличается своей открытостью миру и пластичностью, он, в сущности, мало знает, но создан для познания, что лежит в основе техники.

Хайдеггер отмечал постоянную «предрасположенность» человека по отношению к самому себе и к миру как к проблемам, что непрерывно побуждает его к действиям. Если для животного мир «нормален» и оно чувствует свое единство с ним, человек ощущает свою «заброшенность» в этот мир (термин Хайдеггера).

Если животное имеет родовую ориентацию, управляется генами и не обладает самосознанием, то человек, когда он развивается до стадии исторического сознания, ориентируется на самого себя (как народ, а не как личность). Его «призывает» быть самим собой то, что Хайдеггер называет «событием», он испытывает искушение лично стать событием для мира, рискованным событием.

Человек, как живое существо, в отличие от животных живет по своей воле. Он сам формирует себя, сам заботится о себе. «Сам», разумеется, означает обще-

ство, племя, народ, но не «человечество» и не «Индивидуум». Хайдеггеровское понятие «бытия» означает, что «мир» существует только для человека. Без человека нет мира. Но каково значение этого понятия «мир»? Мир животного существует не «для» животного, это лишь комплекс физико-химических сигналов, на которые животные реагируют, постоянно находясь в непосредственном контакте со своей средой. Человеческий мир больше: он включает в себя историческое существование. Суть человека как исторического животного тривиально выражается в его эгоизме, в том факте, что он присваивает себе мир и думает, будто он «для него создан» как некое внешнее пространство, которое он может использовать в своих интересах. Так что для человека мир это не объективная целостность всего сущего, не совокупность физико-химического мира.

Не давая народам «заботиться о самих себе», утверждать свое коллективное Эго, иудео-христианский гуманизм опускается на животную ступень родового сознания. Род определяется в данном случае с помощью примитивной и путаной категории «человечество», чисто зоологического понятия, лишенного какой-либо исторической ценности и поэтому, парадоксальным образом, нечеловеческого. Эгалитаризм вообще не позволяет человеку осознать себя как личность или как народ, а смотрит на него только с точки зрения зоологических критериев «человеческой массы» и ее коррелята – индивидуума (особи). Сверхгуманизм языческой традиции и учения Ницше утверждает, наоборот, что человек действует сам по себе, а не ориентируясь на род, т.е. человечество, но не как атомизированный индивидуум, а как народ или как творческая личность, выражающая душу и судьбу своего народа.

Индивидуализм эгалитарно-гуманитарного сознания не следует путать с нашим персонализмом⁴⁰; оно ориентируется скорее на родовую магму. т.е. на человечество, которое представляет собой лишь сумму бесчисленного множества «одинаковых» индивидуумов. Этот регрессивный взгляд на человека выражается в иудео-христианской философии прав человека. В ней человек понимается лишь как человеческое существо (согласно отвратительному английскому выражению «human being»), т.е. по сути как зоологическое существо, как млекопитающее типа «Homo».

И подобно тому как кажется естественным, что все животные одного рода равны и имеют одинаковые «права», так и для иудео-христианского зоологизма естественно, что все человеческие животные должны быть равными. Таким образом, представление о массовом человеке (христианство и западничество) и концепция человека как автономного индивидуума родственны друг другу: они отвергают историческое сознание и подчиняют человеческое родовому подсознательному или детерминизму теологического или экономического развития, в зависимости от учения. Но подобно тому, как возможен выбор между двумя ис-

торическими вариантами, между бесчисленными формами прошлого или будущего, возможен он и между признанием историчности, которую человек несет в себе, или ее отвержением.

Историческое сознание, которое совершенно отсутствует у животных и у гибнущих цивилизаций, отличает воля к продлению своего существования... С помощью этой воли человек как историческое существо заботится о себе самом... не перекладывая эту заботу на программу рода.

Эта свойственная историческому сознанию забота о себе самом побуждает человека проецировать себя в будущее, воспринимая переживаемое им настоящее как уже прошедшее. В историческом сознании, которое не линейно, а трехмерно (поскольку прошлое и будущее, две единственные реальности, сливаются в настоящем), человек обретает уникальное чувство собственного присутствия, возвышающее его над непосредственным сознанием бытия здесь и сейчас, присущим животным и антиисторическим цивилизациям современного Запада.

Чувство личного присутствия исторического человека, исторического Я глубоко и трехмерно, что позволяет утверждать, что западная цивилизация (которая льстит себе честолюбивой надеждой дать массовому человеку счастье вечного настоящего) создает более низкий тип человека, низведенный до зоологического уровня, поскольку этот тип не ощущает временную интенсивность личного присутствия, характерную для исторического сознания.

Мир человека охватывает все взаимосвязи, которые возникают вокруг него и которые он использует в своих интересах, в интересах своей воли к власти. Эти взаимосвязи возникают потенциально, а человек всегда определяет сам для себя конкретную возможность бытия. Человек, который осознает себя как Я (поскольку он «покинут» и «заброшен в мир»), должен сам заботиться о себе и соответственно изменять мир. Он каждый миг стоит перед выбором, перед альтернативой, он должен принимать решения и действовать, так как мир представляется ему комплексом взаимосвязей...

«Демонтаж» европейской истории

Иудео-христианство и эгалитаризм как будто также пытаются определить человека как историческое существо, но в действительности это не так, потому что иудео-христианство в своей эсхатологической, мессианской и сегментарной концепции истории изображает последнюю как преходящую. Как в гегельянско-марксистском мессианстве, так и в прогрессистском учении либеральных демократов назначение истории в том, чтобы завершиться (потому что она «плохая») установлением всемирно умиротворенного общества, подобно тому, как

второе пришествие Христа в иудео-христианстве венчает собой историю человечества царством Христовым. В этом мировоззрении человек, в сущности, не историческое существо, он не принадлежит истории вечно, а обречен на нее лишь временно. И он будет спасен от нее, если будет тем, чем должен быть. Иудео-христианский и эгалитарный взгляд на человека, как уже говорилось, равнозначен чисто зоологическому взгляду, потому что он исключает трехмерность человеческого сознания и не определяет человека как постоянно историческое существо.

Сверхгуманистическая концепция человека и мира, которую можно назвать «неоязыческой» и которая вернулась в Европу вместе с Ницше, утверждает в противовес этому, что история человека не имеет ничего общего с зоологической жизнью и «вещами» (Вильгельм Дильтей). История это сверхжизненное, чисто человеческое дело, и только человек обладает (виртуально) историчностью, только он один, потому что он ощущает трехмерность времени.

После этой первой части мы можем ответить на животрепещущий и спорный вопрос о количественных и/или качественных различиях между отдельными цивилизациями и степенями их развития.

«Превосходит» ли европейский человек других, потому что он первым изобрел современную технику? Нет, потому что техника относится к устройству жизни, а не истории. Техника имеет биологическое происхождение, по своей генетической природе человек призван быть техником, чтобы выжить в своей среде. Но в важнейшем плане историчности человека ни одна цивилизация не превосходит другую. Все люди, и в палеолите, и в мире современной техники получали и получают импульсы развития от историчности, раскрывающейся в жизни как «нечто другое». И даже, если цивилизация не реализует эту историчность, оставаясь вне истории, она может в любой момент это сделать и войти в историю, как, например, народы Африки в XX веке после деколонизации.

В связи с историчностью человека возникает второй принципиально важный вопрос. Не противодействует ли традиция этой историчности, мешая памяти реализовать себя в проекте, запрещая человеку делать выбор и принимать решения (а это основная задача исторического сознания) и устанавливая для него программу? Не является ли традиция своего рода зоологической блокировкой, отзвуком животного прошлого, когда поведение рода диктовалось генетическим кодом? Ответ и здесь будет отрицательным. Традиция это не программа с жестко заданным кодом, она скорее тоже предмет выбора, рискованного решения, составная часть исторического сознания. Каждый исторический проект (и каждое свободное решение) это самопроекция человека в будущее, обусловленная гомотетическим решением спроецировать себя в прошлое, возродить традицию.

Вальтер Отто⁴¹ напоминает нам о том, что возникшая после ахейского нашествия «новая цивилизация» возродила свой пантеон, т.е. свои религиозные традиции (миф о побежденном Зевсом Кроносе). Переосмысление прошлого и основополагающих мифов происходит каждый раз, когда появляется на свет новый исторический проект. В общем, никакая проекция в будущее, никакой выбор и никакое решение не возможны без поддержки традиции. Мы можем даже утверждать, что проект будущего связан с проецированием (продолжением) *определенной* традиции. Таким образом, «будущее» человека, вопреки тому, что воображают прогрессистские философы с иудео-христианскими фрагментарными представлениями о времени, это не разрыв с прошлым вообще, и не его продолжение, а само прошлое (точнее, одно из прошлых), спроецированное в будущее. Материал истории не что иное, как прошлое, подобно тому как суть исторического проекта это традиция.

Этот тезис надо пояснить на наглядных примерах. Если мы исходим из того, что в нашу эпоху Европа переживает борьбу между двумя великими историческими и политическими проектами (проектом эгалитарного гуманизма: сделать из Европы многорасовое общество потребления, зону всемирного Запада, и «гибеллинским» сверхгуманизмом: Европа как имперская модель против экономической цивилизации), то оба движения, которые хотят принять разные решения относительно будущего Европы, разумеется, по-разному толкуют традиционное прошлое Европы, чтобы найти поддержку своим проектам. Одни стремятся включить Европу в свою иудео-христианскую традицию, другие – в языческо-гипеллинскую. И все прошлое, мифологическое, художественное, литературное, политическое и религиозное, заново перечитывается через призму этих двух субъективных подходов, а ни о какой «объективной» традиции говорить не приходится.

Когда мы говорим об историчности человека, о его свободе заботиться только о себе, принимать рискованные решения и проецировать себя в будущее, речь идет о сверхгуманистическом плане не о любом человеке и не обо всех людях. Если каждый человек виртуально может обрести активное историческое сознание, то в действительности этого достигают лишь немногие личности (в противоположность «стандартным людям»), которые вводят своих современников и последователей в историю без их содействия. Человек обычно застывает в безличности и редко поднимается на ступень самоутверждающегося, сверхжизненного и смелого человеческого Я. Самоутверждение человеческого Я, которое лежит в основе исторических деяний и самой истории, представляет собой для биосферы нечто неслыханное: это разрыв с естественными законами естественной эволюции, замена генетической программы культурной. Техника, хотя она, как говорилось, относится к строю жизни, а не истории, «одушевляет» в этом смысле изнутри историческое сознание и его сверхжизненную суть.

Влияние техники на массу-энергию, живую клетку или геном придает историческому сознанию человека способность конкретно заменять программы жизни (естественную эволюцию или движение планет) проектами человеческой воли. Но, в конечном счете, историческое сознание, воля человеческого Я решает с помощью этой техники, используя связанные с нею возможности, переустроить жизнь. Как показал Хайдеггер, большинство людей – слуги техники, они подчиняются ее требованиям, но саму технику делают личности, обладающие волей использовать человеческое Я и присущую ей способность брать на себя риск и принимать решения. Техника не сверхчеловечна, она подчиняется сверхлюдям.

Традиция – единственная судьбоносная сила

Зная об этой фаустовской способности самоутверждения человеческого Я как о движущей силе истории, мы можем понять теперь, что сверхгуманизм, в отличие от детерминизма, несет с собой освобождение. Фаустовскому и сверхгуманистическому сознанию прошлое никогда не кажется завершением. Согласно этой концепции истории сила традиции нерушима. Она может в любой момент проявиться снова, даже столетия спустя после ее кажущейся смерти. Подобно, казалось бы, забытым событиям, которые снова всплывают в памяти, повторяющимся кошмарным или приятным сном, традиция остается прибежищем, вечно современной силой, скрытой под реальностью и под преходящей слабостью настоящего.

Поэтому мы должны, что бы ни случилось в нынешней больной Европе, сохранять наши древнейшие традиции, прежде всего, самые сильные из них, а именно те, которые принадлежат нам и которые никто не сможет у нас отнять, такие как имперский миф, греческие поэты и философы, памятники литературы и архитектуры, созданные нашими предками, чтобы однажды – и сегодня этот день настал – они могли послужить источником вдохновения и прибежищем в трудные времена. Это тот памятник нетленной меди, о котором писал Гораций.

Необходимо понять, что в XX веке «прогрессисты» и «революционеры», поклонники современности и одновременно могильщики прошлого создали самую марзматическую, самую холодную, наименее склонную к авантюризму цивилизацию в истории, цивилизацию всемирной обывательщины и движения в будущее задом наперед.

Несмотря на свои патологические технологические судороги, несмотря на свою лихорадочную жажду микроновинок, эта цивилизация не создаст ничего исторического. Чтобы создавать, надо быть консервативным. Тот, кто действительно привержен к ранее созданному, обладает трехмерным видением времени, опи-

рается на прошлое, на традицию – они для него всегда современны и живы и он может проецировать их в будущее. Прогрессист не может ничего не основать, ни создать, потому что прошлое и традиция для него мертвы, он стоит на песке, на мираже «чистой современности». Прогрессист-революционер, будь то марксист, социал-демократ, утопист прав человека или мономан глобализации (миф Мак Лугана о «мировой деревне»), отправляется от нулевой точки истории («теперь»), начиная с которой все возможно, если не принимать во внимание опыт прошлого и накопленные в нем силы. Но начинать с такой нулевой точки значит и кончить нулем, значит обречь историю на застой, о чем в достаточной мере свидетельствует судьба этого мира после 1945 года, когда «статус кво», общее разочарование в прогрессе и банкротство великих универсалистских идеалов служит фоном для равнодушия и безволия наших современников, несмотря на прогресс становящийся бессмысленной техникой.

Консервативный революционер остается в истории и его деятельность ориентирована на будущее. Прогрессист, который хочет конца истории и верит в него, сходен с реакционными традиционалистами, потому что он выбирает застой, потому что прошлое для него только труп, а те из него делают мумию.

Поскольку современный Запад находится в тупике, только шок от столкновения с прошлым, возврат к прошлому может даровать Европе полное приключений будущее, при том условии, что это «прошлое» будет не иудео-христианским и гуманитарным, а будет возрождено то «другое прошлое» Европы, которое первым пытался полностью осознать Ницше. В свете этого другого прошлого (язычески-гибеллинского, которое пронизывает всю нашу историю и повлекло даже на т.н. католические учреждения) должна быть переосмыслена современная техника, бессмысленность которой сегодня очевидна (потому что ее развитие стимулируется только идеологией индивидуалистического благосостояния и «гуманитарным» проектом одомашнивания человеческого рода). Она снова обретет свой смысл, если подчинить ее требованию, выдвинутому Ницше, требованию господства просвещенной воли к власти творческих личностей, именуемых Ницше «аристократией».

Европейский неофутуризм

Европейское будущее состоится и обретет смысл при одном условии: только консерваторы могут сохранить историю и подготовить судьбу, так что только они – «футуристы». Гераклит имел в виду именно это в своей знаменитой метафоре о реке: чтобы иметь возможность каждый раз входить в другую воду (т.е. следовать за судьбой и оставаться в истории), надо, чтобы существовала река (т.е. история как память). Поэтому *утопия*, как страстное желание судьбы и бу-

дущего, зависящих только от нашей воли и нашего воображения, бесплодна и смертоносна, если она не связана с *мифом*. Либеральная и марксистская утопия унификации Земли по шаблону эгалитаризма и материализма основывается не на историческом мифе, а на *иллюзии*, на ложном представлении о «естественном состоянии» общественного договора. Такая иллюзия не имеет ничего общего с историческим прошлым, так как это естественное состояние – современная выдумка, недопустимым образом спроецированная на доисторическое прошлое, и опорная точка этих прогрессистских утопий находится вне истории.

И наоборот, утопия может стать основополагающей, как только она ополчится на миф. т.е. на нечто *реальное*, потому что миф это предание, которое вырастает в историю и призвано обеспечить ее продолжение. В этом смысле утопия консервативной революции может опираться, например, на европейский имперский миф (Римская империя, Священная Римская империя германской нации и т.д.), который имеет гораздо более реальную силу, чем все футурологические проекции прогрессистских утопий. Идеологии современного Запада отличаются своей неспособностью стать основой будущего и определить судьбу: лишены основополагающих и мобилизующих мифов (под предлогом «реализма»), построенные на песке «проектов» универсалистско-эгалитарного учения, а не на твердой почве истории и традиций, они не имеют перспектив на осуществление и предоставляют управление ходом событий слепой воле техноморфной мировой системы. Эти идеологии нереалистичны при всем своем рационализме, они не учитывают возрождение религии в сочетании с политикой, т.е. мифа, о чем свидетельствуют события, которые сотрясают арабско-мусульманский мир. Мы не должны больше принимать всерьез все эти наполненные ложной мудростью идеологии, независимо от того, предрекают ли они коммунистическое общество или американизированный и стандартизированный мировой рынок, все эти холодные пророчества о скором пришествии всемирной модели «глобальной системы связи», «постиндустриального общества», мечта которых – распространить на всю планету Калифорнию в ее нынешнем состоянии.

Примем лучше во внимание политические проекты и утопии, основанные на возрождении исторического мифа (вроде «Великой арабской родины»). Они гораздо полней, органичней и реалистичней, потому что они учитывают все человеческие аспекты, прежде всего религиозный и иррациональный, и не довольствуются построением будущего на основе иллюзий математического и экономического рационализма. Жаль, что народы Третьего мира (Мексика, арабский мир, Индия, Африка) в гораздо большей степени привязаны к таким мифам и поэтому они консервативней, футуристичней и реалистичней нас!

Только когда Европа снова откроет для себя смысл священного и поймет, что такое общность судьбы, она возродится. В этом плане ситуация у нас парадок-

сальным образом лучше, чем в США и СССР, где общество живет только рационалистическими и материалистическими надеждами и где всякая мифическая духовность (т.е. то, что несет в себе история) окончательно отброшена ради чисто технологического и материалистического построения будущего. Генри Джемс говорил: «Мне надо приехать в Европу, чтобы узнать смысл трагического».

Именно этого трагического не хватает западной *оптимистической* модели США и СССР. Но история может основываться только на трагическом. Оптимизм западного прогрессизма ведет к смерти, о чем свидетельствует демографический упадок. Последний, как отмечает Пьер Шоню, имеет место в тех странах, где перестали ощущать присутствие смерти, где исчезли ритуалы погребения, где оптимизм потребительства, буржуазного самодовольства повседневной жизни и поверхностного культа веселой молодости заменили в коллективном сознании культ предков и память о смерти. Но без живой памяти, без культа предков нет детей, нет истории, нет будущего, без трагизма нет воли к выживанию, без линии предков нет линии потомков.

Старая, основанная на чувстве трагического, культе предков и памяти Европа парадоксальным образом имела больше шансов на выживание, чем американо-западное общество с его атеизмом (под прозаической маской лжерелигии прав человека) и оптимистической, хотя и мимолетной, показной молодостью «технологической цивилизации».

Несмотря на крах христианства как религии, Европа все еще сохраняет чувство священного. Она снова станет культурно и демографически плодотворной, если вернется к мифам и образам погребения. Мы не знаем, где еще черпать необходимую для этого энергию, как не в своей языческой памяти.

Так как у США нет памяти, так как они хотят жить без прошлого, мы не знаем, откуда они возьмут мифы, память и чувство священного, необходимые в дальней перспективе для выживания. В другой книге я говорил о том, что Европа только переживает упадок (из которого она может выйти), а американо-западная цивилизация гибнет⁴².

Фаустовская душа Европы трагична, и в этом плане нынешний «европессимизм», возможно, плодотворней, чем низкий, самодовольный оптимизм американцев, который при первой буре исчезнет и превратится в подавленность, как после вьетнамской войны. Трагизм осознания того, что европейская самобытность в настоящее время находится в тупике, может привести к неожиданному пробуждению. В этой связи нам следует вспомнить об историческом опыте *средневекового* человека, который, по меньшей мере, в такой же степени, как и

греческий человек указал нам пусть к тому, с чего, может быть, должны начать заново. Человек Средних веков пережил необыкновенные метаморфозы своих политических, религиозных и строительных форм. Он освободился от того, что тяготило его в традиции, и посмотрел на нее совершенно новым взглядом. Как строитель и политик он создал радикально новые формы и сделал их своими традициями: это, например, готические соборы и ленное право. Дофаустовский средневековый человек был по сути своей, творческим. Он открыл новый политизм, новую эстетику, новую политику, не прибегая к таким категориям как «современность» или «прогресс» и не восставая против прошлого. Такая дионисийская сила пригодилась бы нам в нашем нынешнем положении.

Ренессанс, искусственные воспоминания об античном мире, – не то, что нам нужно. «Образец», эта вечная прихоть, убивает все. Литературное и мертвое язычество пришло на смену католицизму, который готов был стать *неоязыческим*. Но на него уже отбрасывали свои тени Лютер, Кальвин, контрреформация и рехристианизация. Это нормально: плагиат искусственно возрожденной античности выхолостил творческую магию средневекового человека. Захотелось подражать римскому государству, колоннадам античных храмов. В конечном счете разрушили феодальный строй, перестали строить готические соборы, но не смогли, разумеется, обрести вновь гармонию греков и римлян, а обрели лишь современное государство, христианство и индивидуализм. Язычество позволяло подсознательному, социальной имманентности, политической, сакральной и эстетической повседневности, держа их, правда, под контролем, уходить в т.н. «светское искусство». Средневековый человек стоял на правильном пути, который ведет к возвращению преобразенных богов.

Неоевропейский дух должен взять себе за образец творческую душу Средневековья. Она приняла на себя огромный груз после краха гигантского римского мира. Это была катастрофа таких масштабов, что она могла повлечь за собой конец всей европейской цивилизации. Но, несмотря на переворот, вызванный переходом от римского к средневековому миру, европейская самобытность одновременно изменилась и осталась той же. Такой же переход, такой же перелом предстоит нам теперь: мы должны измениться, чтобы сохранить нашу самобытность, порвать с прогрессистской «традицией», чтобы сохранить нашу собственную суть.

Быть непоседой и фаустовским человеком; соединить традиционализм с тем, что можно назвать «футуризмом», одновременно иметь в виду европейское укоренение и продолжение нашей родовой линии в будущей истории, т.е. отбросить и косный реакционный традиционализм, и опустошающий культ современности, но, прежде всего прогрессизм с его отвратительным идолопоклонством

перед «будущим». Европейский футуризм, можно даже сказать, неофутуризм парадоксальным образом предполагает недоверие к понятию будущего.

Мы не можем знать о будущем по своему опыту, у нас есть только опыт прошлого. Современная футурология, снабжая наше будущее детерминистическими атрибутами, приучает нас к суеверному почитанию смысла истории, нейтрализует нашу волю выбирать исторические проекты и свое будущее, навязывает нам такое будущее, которое соответствует лишь количественному росту мондиалистской цивилизации потребления. Если мы не будем верить футурологам, мы будем иметь перед собой свободное будущее и сможем устроить в нем тот самый шок от столкновения с прошлым, которого так боится гуманитаристское сознание.

В традиции, которую мы для себя выберем, мы, возможно, найдем лицо и источник вдохновения нашего будущего, невообразимого для современного менталитета будущего, неприемлемого для прекраснородушного гуманизма, который бичует Жеральд Эрве⁴³, будущего (это прекраснородушие выражается в том, что ему мерещится восходящая линия прогресса, хотя, по всей вероятности, это лишь временный триумф западного междуцарствия).

«Междуцарствием», во время которого мы живем⁴⁴, мы можем назвать охарактеризованный Ницше период, когда эгалитаризм достиг своей критической фазы и темп его развития ускорился, когда Европа отбросила то, что показалось ей лишней в ее самобытности, когда «гуманность» конкретно реализуется согласно иудео-христианскому проекту, но когда одновременно новые элиты снова проявляют волю к возрождению истории.

Весь XX век представляет собой в действительности именно такое междуцарствие. Вполне может быть, что он кончится ничем иным, как завершением уже начатого процесса полным триумфом эгалитаризма, массовым обществом и окончательной гибелью европейской цивилизации. Но может быть и так, что после отрезвления наступит конец эгалитаризма. Большинству наших современников трудно представить себе этот конец, потому что он будет означать не отрицание равенства и на эру антиэгалитаризма, а скорее эру, когда различие между эгалитаризмом и антиэгалитаризмом станет беспредметным, когда выбор между расизмом и антирасизмом, между космополитизмом и укоренением не будет иметь больше смысла, когда не будет больше споров между прогрессистами и традиционалистами, между левыми и правыми, потому что эти основные вопросы будут окончательно решены и их место займет нечто другое, потому что порядок в истории будет установлен, говоря словами Гомера, «молнией или убеждением».

Пьер Виаль пишет: «Нужна самая долгая историческая память, чтобы основать на ней великое будущее... Народ это живое существо, он может умереть физической, а также духовной смертью. Народ, который потерял свою душу, обречен на смерть... Народ это сообщество, обладающее самосознанием, которое входит в историю благодаря своей воле *делать* историю... На чем основывается народ? На общем наследии и на воле жить вместе. Но этой воли не будет, если не будет согласия относительно исторических, культурных и вообще *мифических* ориентиров. Основополагающие мифы необходимы для жизни народа, для осознания им своей судьбы, для его воли к становлению»⁴⁵.

Фаустовская душа обретает одновременно свою силу и свою особенность в этой амбивалентности: она взывает к мифам в условиях упадка. Словно проклятая душа, она противится этому проклятию, возвращаясь к мифам, которые одни только могут возродить историю вопреки велениям судьбы. Обреченная сегодня цивилизация может захотеть, чтобы ею овладела фаустовская душа. Жюльен Фрейнд справедливо указывал⁴⁶, что упадок это *созидающая идея*, что осознание реального или предполагаемого упадка может повлечь за собой историческое возрождение. Разве Священная Римская империя германской нации не была основана на идее упадка Римской империи, которая мучила все умы, как мрачная ностальгия?

5. Европейская самобытность в тени современной техники

Сегодня, когда фаустовская душа и европейская самобытность находятся на распутье, тревожной, «неопределимой»⁴⁷ реальностью являются современные наука и техника, двойная опасность которых заключается в том, что они, во-первых, становятся неконтролируемыми и подавляют человеческую волю, а во-вторых, топят самобытность в однородной искусственности мирового порядка. «Требование абсолютного равенства – не что иное, как идеологический продукт неограниченного применения техники», – пишет Жак Эллюль⁴⁸.

Вопрос ясен: способствуют ли современная наука и техника утрате европейской самобытности? Или, вопреки мнению Жака Эллюля, они не совпадают с эгалитаризмом и не порождают его, а наоборот, эгалитаризм, как выражение западной идеологии, позволяет технике обезчеловечивать мир? «Техника, – пишет далее Ж.Эллюль, – традиционно была частью цивилизации, а теперь все зависит от техники, она важнее всех прочих факторов, она включает в себя все».

Ален де Бенуа⁴⁹ подчеркивает, что всемирный «технокосмос» постепенно заменяет человеческую волю при определении – родом – своей судьбы. Сегодня в большей мере, чем во времена первой промышленной революции, технологиче-

ские новинки, особенно в передовых отраслях промышленности, управляют развитием экономической и финансовой системы и, соответственно, политикой. Мы можем утверждать, что человеческая, прежде всего политическая воля отчуждается технологической и финансовой системой, которая избегает любого проявления воли. Царит нигилизм, утрачен смысл жизни.

Говоря это, мы еще не отвечаем на главный вопрос о сущности техники, о том, является ли единственным назначением техники эта смертоносная логика, это подавление человеческой воли. Иными словами, обретает ли эту форму техника вообще или лишь современная, западная техника? Можно ли вообще овладеть техникой (чего еще не случалось)? И нужно ли это вообще? На эти вопросы мы ответим позже.

Западный технокомос и современная наука и техника

«Техноморфизм» нашей цивилизации, сведение идеологий и политических решений к принудительности технологического (якобы нейтрального) управления людьми и вещами – не противоречат ли они концепции техники как вспомогательного средства для принятия человеком свободных решений? Ален де Бенуа подчеркивает, что современная техника связывает человеческий выбор, заменяя волю и проект механическим фатализмом. Это верно, по крайней мере, по отношению к современной технико-экономической системе. Но почему техника прежних времен не выхолащивала человеческую волю, а современная техника, плод человеческого разума, способности суждений и воли, парадоксальным образом превращает самого человека в робота, лишает его символического мышления, а человеческий мир – чудес? Потому что современная техника пропитана западной эгалитарной идеологией с ее иудео-христианским дуализмом и индивидуализмом. «Под влиянием дуалистического, рационалистического и универсалистского мышления человек проводит разделительную линию между миром и собой. Он делает из мира объект, а из себя самого – субъект. Родство человека с миром исчезает. Человек верит теперь, что может овладеть миром, в котором не бывает чудес; в действительности он сам становится рабом насквозь технизированного мира»⁵⁰. Только когда будет преодолена эгалитарная, христиано-подобная, дуалистическая, универсалистская и рационалистическая идеология, человек сможет использовать силу техники, грубую и слепую, если она представлена самой себе, в своих исторических проектах, подчинив ее своей воле к власти.

Иудео-христианский и эгалитарный гуманитаризм, отвергая иерархию и понятие власти, парадоксальным образом вызывает к жизни обе эти реальности в их наихудшей форме подчинения и разрушения человека и его среды... неконтро-

лируемой власти техники, которую считают «нейтральной». Только мировоззрение, которое признает законность воли к власти человека и народов позволит овладеть техникой, сделать ее орудием, а не самоцелью.

Продолжим исследование этого парадокса. Поскольку техника больше не вызывает восхищения и не служит предметом поэтизации, она превращается в прозаическую, слепую, разрушительную силу. Человек не дистанцируется больше от техники, которая стала частью его мира (возьмем такие технологические протезы, как телевизоры и автомобили⁵¹), поэтому техника стала неконтролируемой силой порабощения и разрушения. Это происходит, потому что человек под влиянием иудео-христианского духа больше не воспринимает технику «в ее сути», забывает, что он сам – субъект истории, составляющий проекты, потому что он сам позволяет технике управлять и из-за этой наивной доверчивости (типичной для либерализма с его иудео-христианским мировоззрением) обрекает самого себя на роль ее раба, а Землю – на опустошение.

Пессимистический человек язычества, которого стоило бы возродить, наоборот, знает, что современная наука и техника, как выражение фаустовской души, включает в себе большой риск. С точки зрения опасности и вызова, который человек бросает самому себе (техника, как и боги, создаются нами по нашему образу и проецируются против нас), техника требует проявления воли к власти. Люди с иудео-христианским психическим складом либо оптимистически равнодушны к природе техники, либо считают ее нейтральной и безопасной, либо, как протестант Жак Эллюль, осуждают ее как «зло» в библейском смысле.

Слишком критическое отношение к современной технике способствует упадку и деморализует людей. Те, кто убеждает нас, будто современная техника – зло, в действительности хотят лишиться нас силы техники, которая, не будем это забывать, принадлежит в культурном плане нам, европейцам, в большей мере, чем какому-либо другому народу. Антитехническая идеология стремится превратить нас в отсталое, феодальное общество без средств власти. Техника должна принадлежать американцам и японцам, а европейцам – музеи и фольклорные группы.

Мы не должны шарахаться от техники, мы должны «оседлать тигра», как говорил Эвола, «просто идти вперед», как советовал Жюльен Фрейнд. Инкубаторы, атомное оружие, освоение космоса, обработка данных на ЭВМ двигают нас вперед и выводят нас из того состояния успокоенности, в которое повергла нас слишком литературная культура наших элит. Последние на исходе XX века призваны не писать диссертации на абстрактные политические темы, а беспокоиться о вещах, порождающих риск и проблемы: в обозримом будущем детей будут выращивать в инкубаторах⁵², расшифруют генетический код и можно будет ма-

нипулировать наследственностью. Все это требует ответов и решений. Мы должны отвечать на вызовы техники, которые бросаем сами себе через нее. Из-за недостатка воли элиты не могут в настоящее время дать такие ответы, и происходит загнивание. Если мы, прежде всего, в том, что касается биогенетических манипуляций и искусственного оплодотворения, не составим проектов и не будем иметь мужества рисковать, мы будем брошены на произвол технологической революции, которая, как всегда, нарушит табу иудео-христианской морали (взывающей к гипотетическому соблюдению «естественного порядка»).

Мы должны вступить в игру, чтобы навязать свою игру, признать силу техники и связанный с нею риск, чтобы господствовать над ней. Но, чтобы установить, не является ли современная наука и техника по сути своей несовместимой с какой-либо формой культурной самобытности, с возрождением мира персонализированных народов и не связана ли она тесно с унифицирующей логикой всемирного Запада, мы должны задаться вопросом о происхождении техники.

Техника относится к тому, что есть в человеке человеческого, поскольку человек представляет себе мир только при посредстве своих манипуляций над ним. Мы воспринимаем мир как человеческий мир не при посредстве наших чувств, а техники, которую мы создаем, чтобы жить в своей среде и властвовать над ней. Любое человеческое мировоззрение, прежде всего, техническое, наше отношение к материи не сугубо биологическое, как у животного, а опосредствованно, а через технику, которая, как показывает А.Гелен, служит заменой того органического недостатка, что человек не может воспринимать среду непосредственно.

Однако, неверно утверждать, будто техника противоположна символике и «технический мир» это мир чистых стимулов и количественных знаков. Скорее можно назвать миром знаков, миром количественного восприятия реальности животный мир, так как схемы поведения животных строго запрограммированы внешними стимулами и *механичны*. У человека техника служит решеткой между миром и восприятием, преобразует реальность («императив» для животного) в комплекс возможностей и превращает реальность в себе в реальность для человека. Поэтому одушевленный символами мир возможен, так как благодаря технике среда и вся реальность распадается для человека на сферы, где возможны свои решения и концепции.

Так что техника сама обладает способностью поэтизировать реальность. Это означает, что культура реализует свою суть в технике. Вечно рискующий европейский человек обрел в своей технике самую культурную изо всех культур. Неудивительно, что все народы пьют из этого источника и что всемирное пространство этой гиперкультуры вызывает обратный процесс упадка культу-

ры. Высшая культура, по К. Лоренцу, и быстрее всех регрессирует, дестабилизируется в хаосе.

Соблазн технофобии

Последний аспект техники больше всего затрагивает чувства людей, особенно со времени большой волны анитехнического движения 60-х—70-х годов, которая поднялась в США и была поддержана христианскими властными группами: технику не только обвиняли в грехе «гордыни» (мотив вавилонской башни), в XX веке она стала считаться «опасной». Но, несмотря на атомную бомбу, человечество не уничтожило себя, современная техника не превратила человека в разрушителя всего и вся, хотя еще Эсхил в своих трагедиях изображал его как «животное-разрушителя».

Страх перед техническим риском – признак старения европейского человека. С этим страхом надо бороться. Вполне нормально осознавать технический риск, взвешивать его и предотвращать, но это уже патология, когда современную технику огулом объявляют рискованной по своей сути, как это делают, например, антиядерные движения. Риск, кстати, присущ не самой технике как таковой, это отражение человеческой деятельности по отношению к биосфере. Все существующее в космосе – во власти случая. Солнце может взорваться или погаснуть раньше рассчитанного срока, земная кора под нашими городами может разверзнуться в ряде сейсмоопасных областей, метеориты могут разбомбить какие-то регионы, а не испариться, как обычно, в верхних слоях атмосферы.

Утверждать, будто современная техника убийственна, – грубая ложь. Наоборот, она сделала возможным размножение человеческого рода, ставшее сегодня проблемой. Промышленные катастрофы крайне редки и влекут за собой меньше человеческих жертв, чем классический голод в аграрных обществах. Крупнейшая промышленная катастрофа современности, при которой погибли 2-3 тысячи человек в Центральной Индии, произошла, не будем этого забывать, на фабрике удобрений, которая помогла спасти от недоедания сотни человек. Что же касается военной техники, то она менее опустошительна, чем традиционные войны (Рим потерял в битве при Каннах 80 000 человек из 200 000 своего тогдашнего взрослого мужского населения), и число ее жертв гораздо меньше, чем обычно полагают.

За мифологией «технического террора» («электрофашизма» атомных электростанций), за идеологией анитехники кроется не только буколическая ностальгия по земле, но и одна из осевых точек библейского мышления: своей высоко развитой техникой европейский человек оскорбляет Бога, «покоряя» природу,

он присваивает себе то, что ему не принадлежит. Подобно Адаму, он вкусил яблоко от древа познания и власти. Бог за это осудил Адама на труд, но не предусмотрел, что этот труд, который призван был стать наказанием, позволит завоевать мир, что наказанием отнюдь не является. Подобное отвержение техники (вызова рациональности греческого происхождения божественному Разуму) подробно обосновал Макс Хоркхаймер⁵³, один из главных теоретиков Франкфуртской школы и самых ярых противников мировоззрения, основанного на воле к власти.

Для европейской науки и техники не должны быть препятствием библейские проклятья «демонизму», направленному против «божественного Творения», но мы не должны впасть и в другую крайность, просто перевернув библейское мировоззрение, и воображать, будто техника – абсолютное средство покорения мира – это классическая мечта Люцифера. Поскольку мы представляем языческое мировоззрение, природа это наше владение и лучший прогресс – естественный, без искусственного вмешательства.

Верить, будто с помощью техники можно «покорить» природу и в этом и состоит ее назначение, значит, по-прежнему наивно-рационалистически понимать технику, как Бэкон или Декарт. Человек не покоряет природу с помощью техники, он изобретает технику, потому что по-прежнему находится во власти природы и хочет смягчить последствия этой власти. Животное, наоборот, не находится во власти природы, оно само властвует над природой, точнее, над своей особой экосистемой, «участком природы», куда оно совершенным образом вписывается. Неспециализированный человек, отданный во власть природы, борется с ней при посредстве техники. В этом нет ничего «демонического», направленного против жизни. Технический путь это в высшей степени жизненный путь, имеющий такую же ценность и выполняющий такую же функцию, как и магия, которую можно считать первой попыткой человеческого рода рационализировать мир и повлиять на него.

Мнение, будто современная техника оторвана от природы, видит в природе лишь простой объект изменения и разрушения, в то время как традиционная техника будто бы «гармонировала» с природой, исторически ложное. Верным будет, скорее, противоположное утверждение. Крестьяне не очень-то почтительно относились к этой «природе», и несовременный человек вряд ли имел о ней однозначные представления. Об этом свидетельствуют те слепые и радикальные изменения, которым подвергало среду традиционное сельское хозяйство. То, что эти изменения имели меньшие масштабы, нежели вызванные современной техникой, которая изменяет природу во всем мире, – вопрос чисто количественный. Традиционный, доиндустриальный человек в большей мере ощущал себя субъектом и господином над объектом-природой.

Современный человек, который живет в городском, промышленном мире, парадоксальным образом думает, будто он ближе к «природе», представление о которой он совершенно утратил, заменив его восхищением. Он чувствует свою вину в том, что объективировал природу, покорил ее, отделил от себя. Хотя его технические средства сильнее, современный человек (именно по этой причине) сожалеет о своей власти над природой и верит, будто она может обратиться против него (точка зрения Шпенглера). Он с тоской вспоминает о тех временах, когда скромная традиционная техника, как он полагает, позволяла человеку жить в «гармонии» с матерью-природой.

Но если мы хотим вернуться к этой гармонии, к этому равновесию между человеком и космосом через греческую «техне», мы должны, как требует Хайдеггер, отказаться от концепции техники как орудия (характерной для библейского и западного мировоззрения) и вернуть технике ее онтологический статус. Мы должны осознать метаморфную сущность современных науки и техники, вызов, который они бросают нам.

Если мы хотим сохранить «гармонию» с природой, мы не должны больше представлять ее себе в фиксированном виде. По сути своей, по своему назначению гармония должна меняться, как меняется техника и ее применение. Некогда гармония с природой предполагала гармонию с тем, что тогда считалось «природой». И именно техника заставляет нас сегодня менять наши представления о природе с учетом отношения массы и энергии, освоения космического пространства и общей теории относительности.

Европейский менталитет должен диалектически преодолеть прогрессизм, экономизм и западную концепцию техники. Это позволит нам подняться на другой уровень гармонии, которую античные и традиционные общества ощущали по отношению к «своей» технике. Речь идет о качественном скачке исторической сути, какой европейские народы совершали уже не раз, о преобразовании.

Мы призываем не к регрессу, не к линейному возврату в дотехнологическую эпоху и не к отвержению промышленного мира, который, хотим мы этого или не хотим, принадлежит к числу наших ценностей, а к преодолению сверху нынешнего техноморфного мира. Мы призываем людей стать постпрогрессистами, даже постмодернистами, несмотря на то, что последний термин обесценен неправильным употреблением.

Когда сталкиваются современная техника и самобытность народов, труднее всего опровергнуть тот аргумент, что первая приводит к глобализации образа жизни и способа производства.

Решающий момент, который лишает силы как либеральной, так и марксистский анализ технико-экономической сути базиса цивилизации, заключается в том, что всемирный характер современной техники и цивилизации никоим образом не является порождением самой техники, которая, по мнению многих, особенно либералов, по сути своей универсальна, а скорее вызван тем импульсом к овладению миром, который получила Европа в конце Средневековья. Кстати, первой страной, получившей этот «глобальный» импульс, была Португалия. При этом следует указать, что христианский универсализм и его миссионерский дух, хотя они и сочетались с этим глобализмом, не совпадали с ним, так как выросли на европейской психической основе, отличной от христианской.

Это движение сегодня обращается против нас. Это дополнительная причина для того, чтобы мы снова сделали технику своей. чтобы покончили с этим противоречием, с упадком культуры вследствие того явления, которое выросло из нашей собственной культуры, но над которым мы утратили контроль. Нам не надо создавать другую технику, мы должны раскрыть суть той техники, какая есть.

Именно потому, что она точно выражает в своей сути суть европейского человека, последний, когда его собственный образ поблек в его глазах, чувствует, что эта техника убивает его, сводит с ума. Зато другие народы, например, японцы, сумели дистанцироваться от нее и благодаря этому сохраняют свою культуру. Почему же у нас техника разрушающе действует на культуру? Потому что мы не сумели провести разделительную черту между техникой и ее миром и нашей остальной культурой? Потому что современная техника выросла из нашей культуры, является выражением нашего психического склада.

Она была направлена против христианства и церкви. что доказывает история антинаучной цензуры. В этом смысле современная техника является, может быть, выражением нашего *языческого подсознания*. Подобно тому, как внезапный глоток свежего воздуха может испугать того, кто привык дышать испорченным воздухом, так и европейцы, которые долгое время довольствовались чуждым иудео-христианским духом и культурными смесями, оказались не на высоте перед лицом внезапного вторжения современной техники как проявления язычества в XX веке.

Современная техника как новая магия

Современная техника, по меньшей мере, в такой же степени, что и техника былых времен, скрывает в себе мифологию и мобилизующую эстетическую силу. Мишель Маффезоли верно говорит о «чарах микропроцессоров»⁵⁴.

Воздухоплавание, автомобили, освоение космоса, информатика и т.д. имеют своих «фанатиков» и этот фанатизм, современный вариант магического экстаза, выявляет народное подсознание глубоко укоренившихся европейских мифов. В научной фантастике с ее реализмом технических чудес выражаются мифологемы древней Европы, прежде всего, имперский миф.

Со времен Жюль Верна техника кристаллизует воображение и возрождает магический менталитет. Мир роботов и космических кораблей вызывал такое же восхищение, как сегодня молодежь восхищается, видя, как Мираж-2000 отрывается от взлетной полосы, и способствовал пробуждению психологического фона, который старались подавить господствующая идеология и христианство, фаустовскую веру в способность человека творить чудеса, т.е. действовать вопреки «законам» природы – летать, преодолевая силу земного притяжения, погружаться в глубины океана, отдалять смерть, синтезировать живые ткани и т.д.

Согласно старому афоризму, человек покоряет природу лишь в том случае, если ей повинуется. И в самом деле, «чудеса техники» это всего лишь использование природных сил, но на психическом и идеологическом уровне это выглядит иначе. Европейский человек, который стал фаустовским, благодаря науке и технике перешагнул через то, что не отваживались нарушать все прежние цивилизации, включая иудео-христианскую, а именно через устройство природы. И в этой связи мы не обязательно должны оплакивать греческую «техне»⁵⁵, понимаемую как стихийный рост и гармонию в виде повиновения природе. Это значило бы недооценить ту великую революцию, которая произошла на исходе Средневековья во Франции, Германии и Италии, привела к возрождению подлинно европейского фаустовского духа и побудила европейского человека «совершить преступление» против природы, подчинить ее категорическому императиву производить для людей. Ален де Бенуа справедливо подчеркивает⁵⁶, что такая революция, естественно, была сопряжена с огромным риском, особенно с той опасностью, что человек оторвется от реальной природы и превратится в робота, искусственное, самовоспроизводящееся существо. Но этот риск надо было взять на себя, и на этом основывается величие европейской высокотехнической культуры. Риск, кстати, тем меньше, чем больше техника сохраняет характерную для нее жажду новизны.

Техническое обновление, характерной чертой является изобретательство, отсутствие конечной точки, вызывает всемирные изменения и порождает два основных течения.

Во-первых, сохраняется (или вырабатывается) историческая концепция, совершенно противоположная мессианской, эсхатологической концепции иудео-христианства и прогрессизма, которые смотрят на историю как на сегмент со счастливым концом. Хронологический мир технического обновления (эра техники) в противовес этому выглядит полным приключений и бесконечным, как космическое пространство или мир микрочастиц. Тем не менее, налицо противоречие между временностью прогрессистской и «технологической» идеологии (которая предусматривает нулевой рост и остановку науки, как только планета в промышленном плане достигнет оптимального уровня общего благосостояния) и сверхгуманистическим взглядом на время и на историю, присущим европейской технике. Технологический прогрессизм стремится к концу истории, а процесс научно-технического обновления предполагает бесконечное развитие.

Второе основное течение не противоречит греческому «техне» (в отличие от первого, заданного современной технике промышленной революцией). Второе направление развития современной техники (микрофизика, генетика, астрофизика и т.д.) ведет к новому сосуществованию с природой, что предвидел, хотя и не говорил об этом четко, Хайдеггер. Современная наука и техника снова открывают для себя тот факт, что искусственность не означает отрыв от природы, «неповиновение» ей, а наоборот, подражание ей, притом именно благодаря прогрессу микро- и астрофизики: циклотрон воспроизводит явления, наблюдаемые на Солнце, космические корабли снова вступают, как некогда морские, в контакт с «нетронутой природой» Космоса, генетика открывает искажавшуюся раньше верой реальность жизни, радиоэлектроника – новое измерение природы и т.д.

Различение, которое проводят Хайдеггер и другие авторы, в частности, Шпенглер, Юнгер, Эллюль, между «классической» техникой неиндустриальных обществ и «современной техникой» (причем они изображают последнюю как некую страшную, дьявольскую силу, как «чрезвычайное обстоятельство»), в действительности неправомерно. Различие между ними количественное, а не качественное. Как многократно подчеркивали антропологи и этологи (Адольф Портман, Якоб фон Икскуль и Конрад Лоренц), техника как таковая не имеет в себе ничего античеловеческого, играя свою роль в процессе одомашнивания «природного». Биологические задатки человека всегда побуждали его к овладению средой и к превращению ее в человеческую. Один и тот же духовный процесс побуждал некогда неолитических земледельцев выкорчевывать лес, а сегодня побуждает нас овладеть всей планетой. Ограниченность технических средств не

позволила раньше видеть, что человеческая техника с ее огромной силой может охватить всю земную экосистему, – сегодня мы это понимаем. Парадоксальным образом и вопреки широко распространенным предрассудкам, нынешние повелители мощной современной техники гораздо больше заботятся о природе, учитывая присущую любой технике разрушительную силу, чем те, кто жил в доиндустриальном обществе.

Таким образом, настоящие преобразования связаны не с техникой самой по себе, а с объектом, на который она направлена. На первом этапе этим объектом был сам человек и мир как воспринимаемая среда (медицина, сельское хозяйство, промышленность, естествознание Ньютона). С появлением квантовой теории и общей теории относительности наука и техника занялись астро- и микрофизическим миром массы-энергии. Иными словами, объект техники теперь не воспринимаемая среда (от человеческого тела и планет), т.е. не макрокосм, а микрокосм, т.е. сама суть материи, реальность, которую нельзя воспринимать непосредственно. Речь идет о чрезвычайно важном скачке, последствия которого мы лишь начинаем понимать.

Мы излечимся от нашей шизофрении и примиримся с техникой, когда, наконец, поймем, что она, в отличие от машин, не вне нас, что вне нас только технология, искусство применения техники в чистом виде.

Утверждать, что техника не вне нас, не вне нашей культурной психики, значит сделать огромный шаг в понимании того, что Хайдеггер называл «тайной ее сути». Суть техники таинственна потому, что эта суть слишком близка к нам, чтобы мы могли ее хорошо разглядеть, потому что эта суть в нас, она исходит из нас, в какой-то мере это мы сами, и так было с самого начала индоевропейских походов. Техника означает, в частности, взгляд на время как становление воли, а не как цикл повторения навеки усвоенных традиций. Но этот взгляд на время (затерянный в линейно-эсхатологической христианской концепции, которая, правда, приняла сначала в Европе форму, в которой традиционная циклическая концепция была представлена в наименьшей степени) виртуально наличествовал в более ранних европейских культурах, как доказали Доддс, Вернан⁵⁷ и многие другие. Иначе говоря, техника родилась из латентного мировоззрения. Точнее, техника – не внезапно возникший объект, изменивший извне наше мировоззрение, а наше (еще дотехническое) мировоззрение, в конечном счете, вызвавшее появление техники и реализовавшее себя в ней. Мы, европейцы, всегда несли в себе «современную» технику; возможно, это и есть суть нашей культуры?⁵⁸ При этом условии мы можем снова назвать технику нашей традицией. Техника была бы тогда реализацией потенциала, которую мы несем в себе, и не воспринималась бы больше, как нечто чуждое, разрушительное для культуры.

Помимо разрушения культуры технике, особенно современной, часто ставят в вину, что она превращает народы в нивелированную и унифицированную массу. В действительности техника, по сути своей, скорее антиэгалитарна, потому что она отделяет тех, кто может противодействовать ее вызовам, от тех, кто этого не может. Разве не увеличился, кстати, разрыв между странами со времени «технологизации» цивилизации? Превращение людей в безликую массу господствующей идеологией (которая использует технику для этой цели) затрагивает только социологический образ жизни внутри каждой страны и происходило бы даже без помощи современной техники медленней, но верней.

Техника особенно антиэгалитарна, потому что она – плод человеческого хитроумия в отношениях с миром. Жюльен Фрейд показал, что хитроумие рождает неравенство. Природа безразлична, она может уравнивать, может и не уравнивать, в любом случае ее воздействие нельзя назвать антиэгалитарным. Можно даже сказать, что природа уравнивает человечество, так как все люди равны перед лицом смерти, так как она старается устранить созданное техникой неравенство или представить его как нечто незначительное.

Техника, понимаемая как пакт, т.е. как человеческая защита от случайностей и обманов жизни, заменяет присущую человечеству недифференцированность антиэгалитарным проектом. Во-первых, она не допускает, чтобы продолжало сохраняться равенство людей и животных перед лицом капризов природы. Второе принципиальное неравенство устанавливается, когда человеческие группы, обладающие развитой техникой, превосходят те, которые ее не имеют. Когда говорят об опасностях техники и ее разрушительных последствиях, очень часто путают (именно из-за толкования техники как чуждой европейской культуре) результаты влияния идеологии и техники. Технокосмос это «система» (машины, экономическая сеть, отношения), возникшая из техники, но, по нашему мнению, такое толкование неудачно, потому что техника сама – мировоззрение, взгляд на время и пространство, структуру воображаемого и священного. При таком предположении техника – чрезвычайно содержательный комплекс, о возможностях которого мы даже не подозреваем. Неправильное использование техники по вине производных от христианства идеологий (рационализма, прогрессизма) и либерально-капиталистического Запада не только нейтрализовало технику, лишило ее очарования. Бессознательно это делалось и по той причине, что техника это виртуально и прежде всего – была поэтизацией и обожествлением мира – типично языческая черта.

В какой мере? Как мировоззрение техника включает в себя не только ту жажду исследований, которую Лоренц и Морен считают главным в сути природы, не только латентный фаустовский порыв души европейского человека, но также

иррациональную и эстетическую концепцию Космоса: против этих двух аспектов иудео-христианство вело непрерывную борьбу.

Техника не только устанавливает иерархию, она также «очаровывает» – и в данном случае вопреки широко распространенному предрассудку, согласно которому техника нового времени лишила мир его очарования, как выразился Макс Вебер. Технику саму лишили очарования, такое воздействие не в ее сути. Однообразие, атеизм, безликие массы и материализм нашей цивилизации – плоды *идеологии* (эгалитаризма, порожденного христианством, а не самой техники).

Если верны слова Хайдеггера, что застроенный гидроэлектростанциями Рейн превратился в Рейн для одной техники и утратил свою тайну, свою глубину, свое природное очарование⁵⁹, то не менее верно, что благодаря современной технике мы снова встречаем природу с ее утраченным очарованием на уровне Космоса и бесконечно малых частиц. Природа обретает благодаря этому новую глубину, а техника возвращается к тому эффекту раскрытия, который был присущ греческой «техне». Природа это уже не только деревня и холмы, которые были таинственными для наших предков, но не для нас. Продолжая свое развитие и при этом окружая свои тайны все более плотной завесой, она открывает нам теперь мир элементарных частиц, массу-энергию и Космос, новую реальность, как минимум столь же таинственную и бесконечную, как и та природа, которая открывалась нашим предкам в непосредственном восприятии.

Таким образом, наука и техника ничуть не лишают мир его очарования, они продвигают его дальше. Непосредственно воспринимаемая нами земная природа превратилась в «окружающую среду», когда техника овладела ею и депозитировала ее (хотя⁶⁰...), но возникла новая природа, в какой-то мере открытая благодаря развитию науки и техники. Это природа астро- и микрофизики, освоения Космоса, массы-энергии и тех «мыслящих частиц», о которых говорит Жан Шарон. Поэтому важно, поскольку наши боги теперь находятся в Космосе, продолжить эту европейскую научно-техническую культуру, осваивая космическое пространство, что для европейцев – ключ к их стратегической и военной независимости.

Мы не можем наивно затушевывать недостатки техники и говорить только о ее преимуществах, по примеру тех, кто хочет «укротить» технику и сохранить лишь ее «хорошие стороны». Такой взгляд на вещи восходит к библейской и эвдемонистической точке зрения, согласно которой Добро якобы можно отделить от Зла. Те, кто думает так, не понимают, что техника это органический симбиоз позитивного и негативного, противоречие между которыми должно быть диалектически преодолено сверху.

Вызовы техники двигают историей: техника заставляет людей принимать себя, толкает их вперед. Можно даже сказать, что без вызовов современной техники история и движение совершенно исчезли бы из нашей цивилизации. Что же касается всемирного «статус кво», конца истории, прогнозируемого рядом авторов, то это цель западной идеологии – глобальная материалистическая унификация. И техника одновременно ускоряет эту унификацию (с помощью предоставляемых ею средств, в частности СМИ) и тормозит этот процесс, так как ставит неожиданные (ядерные, биологические и прочие) вопросы, для решения которых нужно снова вводить в мир, управляемый экономикой, политические и военные факторы и принимать исторические решения.

Куда мы идем с нашей техникой?

Речь идет не столько о том, чтобы понять, как овладеть техникой, сколько о том, что следует сделать из техники. Правильный ответ на этот вопрос не смогут дать те, кто хотел бы исключить присущий технике риск. Поскольку он, как уже говорилось, неотъемлемая часть жизни, один из жизненно важных вызовов, техника может быть плодотворной лишь тогда, когда она подвергает нас опасности и все принимают эту опасность, так как жизни для ее продолжения требуется опасность, которую надо преодолеть.

Поэтому опасности генной инженерии, ядерных программ и технологий массового производства (в море и на суше) это вызовы, необходимые для нашего существования и даже для нашего духовного уровня. Можно даже считать, что мы получаем от технических вызовов мощные стимулы, помогающие нам остаться в истории. Например, вызов СМИ порождает в виде ответной реакции столь же массовые требования самобытности. Парадоксально, но мондиалистские, космополитические учения эгалитаризма, возможно, были бы еще более эффективными, если бы технологической цивилизации не было. И нынешняя американизация Европы вследствие мощного напора СМИ делается более заметной, осознается, вызывает возмущение и поэтому с ней легче бороться, чем в том случае, если бы снижение культурного уровня происходило без помощи техники, как это было с народами в прошлом в результате медленного, но глубоко проникающего воспаления культурных капилляров. Соответственно и движение за деамериканизацию Европы и обретение ею самобытности облегчается благодаря техническим средствам, тогда как в традиционном обществе возрождение культуры было крайне трудным делом.

Чтобы правильно ответить на вопрос: «Что делать с техникой?» надо сначала преодолеть противоречие между техникой и наукой. Как учил Жюльен Фрейд, техника «политеистична», а наука воспринимается как «монотеистическая».

Наука всегда основывалась на идее «универсальных законов природы», уникальности конечных целей и вселенской истины, пророчески возвестить которую – задача, поставленная перед нею этикой познания. Этой концепции науки всегда присущ дух времени, даже когда микрофизика и теория относительности теоретически ее размельчили, переосмыслив реальность как многообразную, подверженную случайностям и непостижимую.

А перед современной техникой, возникновение которой на исходе Средневековья было связано с прогрессом мореплавания, довлела многосторонняя символика моря. Корабль, как первый предмет современной техники, оснащенный с XIV века не только веслами и парусами, но также компасом и секстантом, конкретизировал то, на что указывало уже кораблестроение викингов: человек становится «морским существом». Он уходит один во враждебное ему море, доверяя свою жизнь кораблю, т.е. техническому артефакту. Суть техники целиком воплощена в корабле, как средстве сообщения, орудии войны, передвижном жилище и производстве искусства: человек отрывается от уютной суши, чтобы подвергнуться риску в поэтическом мире приключений. Этому характерному для техники отказу от безопасности «наука» противопоставляет метафизическую надежность суши, символа защиты и неподвижности. В европейской душе эти два противоположных друг другу и дополняющих друг друга начала науки и техники породили динамику двух полюсов: укоренения/переселения, знания/артефакта, погружения в книги/приключений, естественности/искусственности.

Гегемонизм самовлюбленно-эгалитарных ценностей Запада, к сожалению, лишил сегодня науку и технику их задач и сути. Часто сделанная конечной целью техника подчиняет себе науку и место «погружения в теорию» занимает меркантилизм научных исследований.

Вызов, брошенный новой европейской цивилизацией и долженствующий привести к тому, что профессия инженера снова станет привлекательной, требует преодоления противоположности между наукой и техникой и умножения одной на другую, вместо простого сложения, которое усиливает их противоположность. Сложение – метод механического порядка разрушительной власти, умножение – метод органического порядка конструктивной власти. Наука представляет единство, техника – множественность и наоборот – современная наука открывает многообразие мира, а техника сводит ее открытия к единообразной деятельности.

Только Европа как центральный континент может умножить науку на технику и выйти из тупика техноморфизма и меркантилизма технологического Запада, если она поможет этой науке и этой технике осознать свою суть, т.е. превратит их

в то, чем они должны быть – в орудия исторической воли к власти, покорения среды и возвращения нашему миру его очарования. Мы, европейцы, не роботы, управляемые бесцельной экономической системой (так обстоит дело в США), мы созданы для того, чтобы стать господами техники.

Вопрос: «Что делать с техникой?» включает в себе еще один аспект: соотношение между техникой и экономикой. Философы техники обычно упускают из вида, что техника развивается в рамках определенного экономического строя и этот строй влияет на ее развитие.

Поскольку применение и организация техники портит технику и мешает ей развиваться в направлении европейской самобытности, нам придется заняться экономической системой. Экономика в рамках исторических и общественных событий уже более века определяет развитие техники. Система всемирного экономического обмена (международное разделение труда) способствовала унификации производства и потребления, распространению по всему миру одной единственной формы техники и повлекла за собой два отрицательных последствия: обеднение самой техники, которая теперь ориентирована на одну единственную промышленную модель и принижена идеологией потребления, а также превращение этой техники в фактор культурной унификации и социального материализма.

С развитием модели сосредоточенных на себе полуавтаркичных пространств, которые порвали бы с мировой экономикой, были бы созданы условия для того, чтобы техника стала фактором усиления самобытности, а не отрыва от корней (это учение, кстати, пользуется все большей популярностью, прежде всего, в Третьем мире).

В другой книге⁶¹ я показал, что самодостаточная экономика возможна даже при повышении нынешнего научного уровня, если она охватит большие пространства, такие как Европа или арабский мир. Место современной мировой экономики займут технико-экономические макросхемы. Техника перестанет быть фактором унификации и энтропии, потому что любой ареал, любое самодостаточное пространство сможет создать свой технический мир, усиливающий его самобытность, его особенность, его суверенитет. По оценке Франсуа Портана, такая модель имела бы огромные преимущества по сравнению с подобным раку технико-экономическим развитием западного типа: она смогла бы решить проблемы недоедания и экономической зависимости Третьего мира, она снова сделала бы человечество негентропийным и разнородным, она позволила бы культурам жить со своей техникой, а не как сегодня, вопреки оторванной от корней универсальной технике. Каждый народ смог бы снова создавать технику, от медицины до промышленного и сельскохозяйственного производства, соответствующую

щую его цивилизации. Противники этой модели, либералы и марксисты, возражают, что на это способны только западные народы; Франсуа Портан опровергает их аргументы⁶².

Что касается Европы, то можно было бы лишить ее экономику таких черт, как превращение народа в массу и снижение культурного уровня, снова сделать ее не западной, а европейской. Предпосылки этого – изменение идеологии, а также реорганизация экономического производства. Экономика не должна больше ориентироваться на общество потребления, она должна стать «органической». Техника не должна больше ориентироваться на индивидуальное потребление, а на производство товаров, необходимых обществу, в соответствии с исторически мобилизующими проектами суверенитета. В этой перспективе освоение Космоса будет играть главную роль.

Великие проекты мобилизации с помощью техники (несущие в себе авантюризм, агрессивность, героизм) – не единственные варианты применения техники в антибуржуазной перспективе, которые мы предлагаем. Развитие региональных и местных экономик с целенаправленным выпуском продукции, социальная и этническая привязка производимых товаров, некоммерческие, мобилизующие или даже авантюрные научные исследования позволят снова поэтизировать технику и помогут европейской культуре снова обрести себя. Меньше телевизоров, стирального порошка, навороченных автомобилей, больше магнитных поездов, инкубаторов, исследовательских проектов. Надо снова облагородить технику, отвлечь необходимую для нее человеческую энергию из секторов личного сверхпотребления, направить ее на мобилизацию общества.

Вопрос: «Что делать с техникой?» требует еще одного ответа. С нашей точки зрения мы должны, во имя самобытности народа, к которому мы принадлежим, снова направить науку и технику в сферу неизвестного подобно тому, как в конце XV века европейцы устремились в моря.

Как «онтологическая манипуляция» (формула Жана Брена, от которой он, к сожалению, отказался⁶³), техника это «смутное стремление нарушить пределы человеческой сущности, спроецировать ее в какое-то другое измерение, не человеческое и не природное» (Жильбер Оттуа)⁶⁴. По словам Жана Брена, надо «преодолеть дифференциацию, которая царит в пространственно-временных рамках существования, тесных для человека». На этом основано величие науки и техники: они проецируют человека не «вне самого себя», не «вне природы» (как ошибочно предполагает Жильбер Оттуа), а в то, что Ницше называл «сверхчеловеческим». Наука и техника не отрывают человека от природы, а позволяют ему снова приблизиться к ней, так как человек страдает от ограниченности своего природного тела и пространственно-временного восприятия.

Наука и техника, несмотря на всю их опасность, позволяют человеческому разуму конкретизировать свои устремления, заполнить эти пробелы, преодолеть шизофрению между нашим пространственно-временным восприятием и нашим желанием, нашей мечтой, нашей потребностью «пойти дальше».

Суть техники, таким образом, совершенно противоположно материализму, так как она позволяет человеку преодолеть пространство и время, высвободить энергию нашего неокортекса. Артур Кестлер очень точно назвал эту потребность преодолением самого себя⁶⁵.

Техника угрожает не человеку как таковому, а самобытности отдельных народов в том случае, если она подчинена универсалистской идеологии. Превращение народа в массу и унификация культуры в технокосмосе достойны осуждения, но не намеченный путь «изменения человеческой природы». Точнее, весь род человеческий или какая-то его часть должны совершить скачок. Убеждение в этом должно перерасти в желание, которое Ницше предчувствовал, а Хайдеггер наполовину выразил.

Если Европа останется верной своему метаморфному духу и будет следовать логике фаустовской души, она может спасти свою самобытность, приняв решение пойти с техникой до конца. Так как виртуально продление естественной эволюции это не «история», а наука и техника, можно придти к мысли, что европейцы отличаются от других народов тем, что проявляют божественную смелость, используя свою технику для самосовершенствования. Ницше аллегорически называл это путем к сверхчеловеку. Тогда не будет больше речи о том, что техника способствует унификации и глобализации, она будет увеличивать, а не уменьшать разрывы во имя новой самобытности.

Исходя из свойственной человеку пластичности⁶⁶, Вэнс Паккард полагал, что техника, помогая человеку самосовершенствоваться, заменяет собой естественную эволюцию и тем самым является частью глубинной природной сути человека. Современная и будущая наука и техника ни в коей мере не искусственные, они самое естественное, точнее, самое человеческое из того, что человек имеет. В современной технике человек обретает свою самобытность или, по крайней мере, возможность ее обрести. Может быть, техника – суть человека?

От онтогенеза до смерти, от личных переживаний (радости, страха) до коллективного социального опыта – всеми внешними и внутренними измерениями человека современная техника может манипулировать, она может их изменять. Она лишила человека «своеобразия». Его пластичность стала полной: он может очень высоко взлететь или очень глубоко рухнуть в хаос. Техника увеличивает эту пластичность, свойственную человеку, и делает его при этом еще более от-

важным, способствует его несчастью или славе и все время его понемногу гуманизирует. «После этого вывода, который отменяет понятие пограничной ситуации Ясперса, – отмечает Ж.Оттуа – что еще остается неосязаемого в человеке, что могло бы стать исходной точкой и мерилom для техники?»⁶⁷

И здесь мы снова наталкиваемся на понятие самобытности в связи с проблематикой, которую никто из наших современников не отваживается обсуждать, так как сильно действует иудео-христианская идея о «неизменности» человека, творения Божьего, которое себе не принадлежит и не имеет права на саморазвитие.

О чем идет речь? О том, что народы, которые в будущем крепко возьмут в свои руки науку и технику, получают, прежде всего, благодаря развитию генетики и смежных наук возможность задавать себе мутации со всеми связанными с этим опасностями и перспективами. Наука и техника будут не унифицировать и нивелировать народы, которые доверятся им, а станут важнейшими средствами утверждения их отличия от других, заменив в какой-то мере дифференцирующую логику естественной эволюции⁶⁸.

6. Заключение

Три главных вызова, которые брошены сегодня европейской самобытности и ставят под вопрос ее дальнейшее историческое существование, это многорасовость, разрушение собственной культуры и традиций и шок технико-экономической цивилизации. Ни один из этих вызовов, которые одновременно угрожают внутренним распадом и внешней унификацией, не является непреодолимыми.

Наоборот, только их преодоление станет для европейцев началом новой эры их истории. Метаморфные народы, к которым мы относимся, всегда должны жить противоречиво: быть верными самим себе и преодолевать себя, изменяясь. Это возможно только при отказе от иудео-христианской, гуманитаристской и универсалистской части нашего наследия. Непременное условие, по нашему мнению, – покончить с нигилизмом, с той болезнью, которая, как понимал Ницше, присуща исключительно современным европейцам и порождена иудео-христианским духом.

Такое самоопределение включает в себя то, что тот же Ницше называл «переоценкой всех ценностей». Парадоксальным образом европейцы пытаются уйти из истории и совершить антропологическое и культурное самоубийство именно

в тот момент, когда современная наука и техника, продукты их собственной культуры, дают им средства осуществлять то, что раньше было невообразимо.

Европейский нигилизм нельзя объяснить внешними, механическими факторами, например, процессом унификации, характерным для современной технической цивилизации, а лишь духовными, идеологическими факторами, особенно тем, что тысячелетний эгалитаризм иудео-христианства достиг сегодня высшей точки своего влияния и наконец принес плод, созревший лишь после того, как христианство стало светским: европейцев хотят заставить отрицать себя как народы и растворить их в едином «человечестве».

Мы снова обретем культурную индивидуальность и остановим волну американо-западной инфраструктуры не жалким бегством в окаменевшее прошлое, а построением из обломков неоевропейской культуры. Мы показали, что настоящий традиционализм противостоит реакционному культу прошлого. Именно прогрессисты и могильщики европейской самобытности выступают за мумификацию прошлого, американизм и «многокультурность».

В жизнеутверждающем проекте неоевропейской цивилизации, первым этапом которого может быть только преодоление нынешнего порядка, отказ от современной культуры, т.е. антикультуры, должен быть прежде всего сохранен дух европейской традиции. Этот по сути своей языческий дух – дух периодов бури, какими были, например, феодальная эпоха, итальянский XIV век, французский классицизм, романтизм и футуризм. Этот дух, кстати, может утверждать себя как энергию, как в случае с футуризмом начала XX века. Скрытый дух европейской культуры, который на протяжении столетий постоянно пытались укротить, нейтрализовать, вполне *сознательно противится божественному порядку и полностью полагается на собственные силы*; он обожествляет человеческое и переносит «чудеса» из сферы сверхъестественного в сферу человеческой воли. Фаустовский дух старой европейской цивилизации, возрождающейся, как Феникс, взывает к добродетели, воспетой Гомером, – к высокому мужеству.

И его сегодня, взамен смертельно больных религий, надо будет как-то определить «новое язычество», следует учесть в этом определении как преодоление веры в божественное, так и отказ от атеизма. Утвердить трансцендентное внутри имманентного, *заменить божественное сверхчеловеческим*. Боги могут снизойти в нас и взывать к ним, их новым господам. И может быть возвышенная личность инженера сформулирует этот призыв.

Новое язычество, если оно появится, вероятно, поставит выше богов пантеон *демиургов*. Человек Средневековья, может быть, догадывался об этом. Его готические соборы были воздвигнуты не к вящей славе «Бога», как выражаются

«модернистские» (единственно подлинные) христиане после II Ватиканского собора, а к вящей славе самих строителей, т.е. народа-строителя. Эти соборы славят не Христа, символ которого помещался где-то над хорами, а *корабль*, устремляющийся в пустое небо, символ творчества архитектора. Реформы, тени мрачных фигур Лютера и Кальвина, а также папы – «нормализаторы» затемнили великую весть Средневековья, как в XX веке западное общество потребления и техноморфный экологизм затмили великое аполлоновское солнце футуризма.

Но в тот момент, когда мы еще не видим, как мы сможем выбраться из этой глубокой ночи, потому что мы еще не знаем, достигли ли того, что Ницше называл дном нигилизма, потому что эра Рыб все еще борется со смертью, потому что мы мечемся между отчаянием и мечтой, потому что мы ищем наощупь нашу собственную индивидуальность, перед нами все же маячит новый образ народов, которые утверждают свою волю к власти и тем самым, может быть, стимулируют и нашу.

Европейцы, которые в противовес многорасовому обществу или западной цивилизации хотят возродить свою самобытность, солидарны с теми, кто борется за свое индейство, свое негритянство, свой арабизм. Прошло то время, когда в «империализме» или еще более клеветнически в «расизме» обвиняли европейцев, которые проповедовали верность своей земле, своей культуре и независимости. Сегодня, когда появились новые разделительные линии и разница между «правыми» и «левыми» стирается, началась настоящая война ценностей и цивилизационных проектов между теми, кто толкает человечество к гибели (апостолов гуманитаристского, эгалитарного, советско-американского всемирного государства, буржуазного материализма, культа экономики и отказа от национальной принадлежности) и приверженцами самобытности, укоренения, короче, того дифференцирующего родового различия, которое только и гарантирует духовное качество рода «Homo». Как свидетели этой европейской самобытности, оказывая сопротивление во имя народа, к которому мы принадлежим, мы вносим свой вклад в защиту рода «Homo sapiens sapiens» и высоких ценностей, которые он утверждает и навязывает равнодушному, слепому потоку жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. J. C. Guillebaud, *Les combattants du grand confort*, in *Le Point*, Специальный выпуск, *La guerre en face*, апрель 1985.
2. См. Stefano Sutti Vaj, *Indagine sui dirritti dell'uomo*, 1985.
3. См. Gilles Lipovetsky, *L'ere du vide*, 1983.
4. См. Jean-Yves Le Gallou, *La préférence nationale*, 1985.
5. См. Guillaume Faye, *Nouveau discours à la nation européenne*, 1985; *Обращение к Европейцам*, Хёрн 1988.
6. Альтерофобией называется антипатия к другим.
7. «Монд» от 9 марта 1985 года, изложение речи, произнесенной премьер-министром Л.Фабиусом в Тулузе.
8. Французское почтовое ведомство опубликовало недавно интересный засекреченный доклад о таком тревожном явлении, как возникновение «сетей» и «служб» на этнической основе внутри официальных иерархий, что эндемически порождает расовую дискриминацию с обеих сторон.
9. Guillaume Faye, *La Nouvelle Société de consommation*, 1983.
10. В англо-саксонских странах, Германии и Франции, родине теоретического расизма по мнению Зеева Стернхелла.
11. По имени французского политика Пьера Пужада, который в 50-х годах использовал недовольство крестьян и мелких торговцев экономической политикой и основал политическую партию.
12. По этому вопросу см. Alain Griotteray, *Immigrés, le choc*, 1984.
13. В этой связи следует упомянуть неслыханную пропагандистскую кампанию в поддержку многорасового общества, которая была развернута в 1985 году во Франции при поддержке правительства, объединения «СОС-расизм» и части прессы. Целью этой кампании было одновременно обесценить французскую самобытность («Франция, как мотоцикл, работает на топливной смеси»), вызвать этнические, конкретно антиарабские волнения и изобразить многорасовое общество свершившимся фактом. Молодежь была морально обязана носить антирасистские значки, которые продавали сотнями тысяч; тех, кто их не носил,

клеймили позором. Результатом этой кампании был раскол населения по расовому вопросу, который впервые после 1945 года был поднят официально, и число сторонников резкого размежевания с цветными значительно возросло... Можно даже сказать, что с 1985 года Франция стала первой страной Европы, где расовый вопрос поднят официально, где самобытности дается этническое и биологическое определение и где расизм стал обычным способом мышления, как для цветных, так и для других.

14. Обычная тема телесериалов и многочисленных «педагогических» фильмов, в изобилии выпускаемых с середины 70-х годов, наряду с вечной темой «роскошных эсэсовских бестий».

15. Bernard-Henry Lévy, см. также «Дьявол в голове», 1986.

16. Как, например, в фильме Роже Анена «Адский поезд».

17. В качестве фантастического врага изображается «фашистский тоталитаризм».

18. Для таких авторов, как Б.-А.Леви и Андре Глюксман, самобытная и независимая Европа – «варварская».

19. Вторая программа французского телевидения снова показала передачу, посвященную расизму. Альбер Жаккар, который хочет быть генетиком, а в действительности стал посмешищем в научных кругах, более десяти лет пытается убедить французов, будто никаких рас нет, но все время выступает за много-расовое общество, доказывая противоположное. Либо расы есть, либо их нет...

20. См. Pierre Vial, Quand l'Arabe était le diable, in *Eléments*, Nr. 53, весна 1985.

21. Те же круги, которые отрицают какую-либо европейскую индивидуальность, часто признают «американскую самобытность», хотя США как раз основываются на идее многокультурности.

22. Albert Jacquart, *Eloge de la différence*, Париж 1978.

23. Alain de Benoist, *Pour une déclaration du droit des peuples*, XV. Colloque du GRECE, Париж 1982.

24. Blandine Barret-Kriegel, *L'Etat et les esclaves*, Париж 1979.

25. Jean-Pierre Hébert, *Race et intelligence*, Париж 1979

26. Robert Jaulin, *La paix blanche*, Париж 1974.
27. Pierre Bérard, *'Ces cultures qu'on assassine'*, в *La cause des peuples*.
28. Robert Jaulin, *La paix blanche*.
29. Ален де Бенуа. См. «Как можно быть язычником».
30. Gérald Hervé, *Le mensonge de Socrate ou la question juive*, Лозанна 1984.
31. По этому вопросу см. André Béjin, *Sexualités occidentales*, Париж 1984.
32. Это не имеет ничего общего с признанием гомосексуалистов нормальными компонентами общества, это пуританство в перевернутом виде.
33. Claude Lévi-Strauss, *Le regard éloigné*, Париж 1983.
34. См. Sigrid Hunke, *'Ce que l'Europe doit aux Arabes'*, in *Eléments*, Nr. 53, весна 1985.
35. Henri Gobard, *La guerre culturelle, logique du désastre*, Париж 1978.
36. Pierre Bérard.
37. Giorgio Locchi, *Nietzsche, Wagner e il mito sovrumanista*, Рим 1982.
38. Giorgio Locchi, *Sur Heidegger*, Intervention à l'Institut Européen des Arts et Lettres, март 1985.
39. См. Мартин Хайдеггер, «Введение в метафизику», Тюбинген 1953.
40. Персонализм рассматривает человека в первую очередь не как мыслящее, а как действующее, оценивающее, практическое существо.
41. Walter Otto, «*Боги Греции*», Мюнхен 1975.
42. См. Guillaume Faye, *L'Occident comme déclin*, 1982.
43. Gérald Hervé, *Le mensonge de Socrate*.
44. См. Ален де Бенуа, «*Решающие годы*», Тюбинген 1982.
45. Pierre Vial, *'Servir la cause des peuples?'* In *La cause des peuples*.

46. Julien Freund, *La décadence*, Париж 1984.
47. См. Gilbert Hottois, *Lesigne et la technique*, 1984, стр. 15.
48. Jacques Ellul, *Le mystère technicien*, Париж 1977, стр. 53.
49. Alain de Benoist, *Idéologies, c'est la lutte finale*, in *La fin d'un monde, crise ou déclin*, Actes du VII. Colloque du GRECE, 1985; также в *Elemente zur Metapolitik*, Nr. 2.
50. Alain de Benoist.
51. Короче, это та «система объектов», которую заклеил Бодрийяр.
52. Инкубатор: оплодотворение человеческих половых клеток в пробирке и выращивание зародыша от зачатия до рождения. Это очень скоро станет технически возможным, и общество столкнется тогда с серьезными проблемами, которые мы должны обдумать уже сегодня (десоциализация полового размножения рода).
53. См. Max Horkheimer, *Eclipse of Reason*, 1947.
54. Michel Maffesoli, *„Du bon usage des mythes“*, in: *Le Figaro*, v. 15. апрель 1985.
55. Можно также объявить их подлинными, как это часто делал Хайдеггер.
56. См. Alain de Benoist, *„Spengler, Marx, Heidegger, penser la technique“*, in: *Nouvelle Ecole*, Nr. 42, лето 1985.
57. Этот автор указывает, что т.н. современная техника и технический прагматизм, которые мы, не подумав, приписываем промышленной революции, встречается у многих древнегреческих «техников»: создателей военных машин, архитекторов, инженеров и т.д. Равным образом в ряде больших проектов (при строительстве акведуков, крепостей, дорог, баллистических механизмов и т.д.) осуществлялся синтез, который мы приписываем современной технике, а именно синтез теоретического проекта, предшествующих математических расчетов и технологического воплощения ради конкретной цели в рамках, запрограммированных государством.
58. Бросается в глаза сходство между «сменой декораций» в цивилизации под влиянием европейского искусства (во всех областях постоянно сменяются стили и мировоззрения – в других цивилизациях этого нет) и такими же постоянными изменениями, которые вызывает в мире современная техника.

59. Можно, правда, добавить, что утверждение, согласно которому «укрошенная» гидроэлектростанцией река или измененный в результате строительства АЭС природный ландшафт теряет свое изначальное очарование и тайну, остается чисто субъективным и его никоим образом нельзя обобщать. Мы можем встречно утверждать, что ГЭС так же поэтизирует местность, как какой-нибудь памятник. Что же касается «функциональности» технических и промышленных построек, по причине чего они считаются холодными и бездушными в отличие от «бесполезных» доиндустриальных построек, то следует напомнить, что эта функциональность прослеживается, в частности, в военных сооружениях с античных времен и до XX века.

60. Современное мировоззрение отучило нас от символического мышления, поэтому мы не видим в техническом мире никакого очарования, никакого символизма. Но сам по себе этот мир – не причина «десимволизации» мира, наоборот, мир техники больше, может быть, чем любой другой, стимулирует символизм.

61. Guillaume Faye, *Contre l'économisme*, Париж 1982.

62. Francois Partant, *La fin du développement*, Париж 1978.

63. Jean Brun, *Les masques du désir*, Париж 1981.

64. Gilbert Hottois, *Le signe et la technique*.

65. Arthur Koestler, *Face au néant*, Париж 1975.

66. Vance Packard, *The People Shapers*, Лондон 1978.

67. Gilbert Hottois.

68. Предостережения опоздали. Опыты по автомутации уже проведены в лабораториях на животных и на людях. Три примера из многих. В области авионики и космонавтики пилот настолько интегрирован в свою машину, что говорят о взаимопроникновении бортовой электроники (заменяющей чувства) и мозга пилота (в который скоро будут вживлять электроды), о блоке сопряжения человек-машина. Будущий французский истребитель Рафаль, который заменит Мираж-2000, практически не будет иметь приборной панели. Ее задачу возьмет на себя мозг пилота, куда непосредственно будут вводиться данные об управлении и стрельбе. Такого рода новинки перекачуют и в гражданские области. Экраны ЭВМ и наши добрые старые телевизоры, возможно, однажды уступят место информации и сенсациям, которые мы будем воспринимать непосредственно ко-

рой головного мозга. Такая форма применения техники делает в перспективе возможным, что появятся знаменитые киборги, активный синтез человека и машины. Мы не знаем, идет ли в данном случае речь о биологическом компьютере или об информатизированной живой материи. Возможность переплетения специфики, которая уже реализована в генетике животных, очень скоро приведет к тому, что встанет вопрос о допустимости применения этого метода к человеческому геному. Исследования идут полным ходом и быстро. Доктор Фауст работает, в то время как политики и идеологи спорят о том, какого пола ангелы...



Перевод на русский язык сделан А.М. Ивановым по заказу редакции сайта «Велесова Слобода» в 2008 г. Данная статья Гийома Фая на русском языке публикуется впервые! Публикация приурочена к пятилетнему юбилею «Велесовой Слободы» (2003 – 2008). В статье использованы работы художника Драгоша Калаича (Dragos Kalajic)

Библиотека Велесова Слобода, 2008 г.